

ЮНОСТЬ



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1955 г.

№ 11 (658) • 2010

ТЕМА НОМЕРА: ОДА НЕАМБИЦИОЗНЫМ

ТРИ ДЕВОЧКИ. ИЗ ТЬМЫ
НЕБЫТИЯ Я ВЫЗВОЛИЛА ИХ

НЕАМБИЦИОЗНОЙ МОЛОДЕЖИ
ЧТО ДЕЛАТЬ?

ЧТОБЫ СТАТЬ ПИСАТЕЛЕМ,
НУЖНО ИМЕТЬ НЕСЧАСТНОЕ
ДЕТСТВО

НЕФТЬ И ВОДКА — ПОЛНУЮ
РЕКОЙ...

И СНОВА СПЕРМАТОЗОИДЫ

ТЫ ЧИТАЕШЬ САФФО
С ПОНИМАНЬЕМ ЛЮБОВНОГО
ДЕЙСТВА

НОСТАЛЬГИЯ
ПО ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЮ
(О ТВОРЧЕСТВЕ АНДРЕЯ
ТАРКОВСКОГО)

РУССКИЕ РИМЛЯНЕ

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
ЕВГЕНИЯ ЧИРИКОВА

ЗАБЫТЫЙ ГЕНЕРАЛ-
ГУБЕРНАТОР АНДРЕЙ
СТЕПАНОВИЧ МИЛораДОВИЧ

Я СЛУЖИЛ БЫ ПОЛИЦАЕМ,
ОДИНОК И ПОРИЦАЕМ!



ISSN 0132-2036



9 770132 203600

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 71120

ISSN 0132-2036

E-MAIL: UNOST-CONTACT@MAIL.RU

HTTP://UNOST.ORG

ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1955 Г.

№ 11 (658) • 2010

«ЮНОСТЬ» © С. Красавская. 1962 г.



Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Юность».

«ЮНОСТЬ» — зарегистрированный товарный знак, являющийся собственностью трудового коллектива редакции журнала «Юность».

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

подписной индекс **71120**

ISSN **0132-2036**

E-mail: unost-contact@mail.ru
<http://unost.org>

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Лев АННИНСКИЙ

Белла АХМАДУЛИНА

Зоя БОГУСЛАВСКАЯ

Валерий ЗОЛОТУХИН

Елена ИСАЕВА

Кирилл КОВАЛЬДЖИ

Валерий КОЗЛОВ

Владимир КОСТРОВ

Нина КРАСНОВА

Татьяна КУЗОВЛЕВА

Валентина ЛАНЦЕВА

Евгений ЛЕСИН

Георгий ПРЯХИН

Владимир РАДЧЕНКО

Ольга РЫЧКОВА

Александр СОКОЛОВ

Борис ТАРАСОВ

Елена ТАХО-ГОДИ

Олег ТОЛКАЧЕВ

Игорь ШАЙТАНОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

главный редактор,
заведующий отделом поэзии
Валерий ДУДАРЕВ

главный художник
Дмитрий ГОРЯЧЕНКОВ

заведующая отделом критики
Анна КОЗЛОВА

ответственный секретарь
Ярослав ЛИТВИНЕНКО

заведующий отделом культуры
Александр МАХОВ

заместитель главного редактора,
заведующий отделом прозы
Игорь МИХАЙЛОВ

главный консультант
Эмилия ПРОСКУРНИНА

заведующая отделом духовного наследия
Марина РЫБАКИНА

заведующая отделом публицистики
Екатерина САЖНЕВА

консультант главного редактора
Евгений САФРОНОВ

заместитель главного редактора,
административный директор
Александр ТАРАСЕНКО

директор по развитию
Светлана ШИПИЦИНА

ПРОЗА

Олег СУВОРИНОВ РАССКАЗЫ	27
Наталья РУБАНОВА	
СПЕРМАТОЗОИДЫ Роман[с] ПРОДОЛЖЕНИЕ	39

ПОЭЗИЯ

Александра АННИНСКАЯ	3
Лев АННИНСКИЙ	
СТИХИ ТРЕХ СЕСТЕР	4
Мария	8
Екатерина	9
Анастасия	10
Анна МАРКИНА	24
Дмитрий МИЗГУЛИН	37
Борис ЛУКИН	59

20-Я КОМНАТА / ТЕМА НОМЕРА

Анна УФИМЦЕВА	
ОДА НЕАМБИЦИОЗНЫМ	12

ГОРОД КИНО

Александр ГАЛКИН	
НОСТАЛЬГИЯ	
ПО ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЮ О творчестве Андрея Тарковского	64

БЫЛОЕ И ДУМЫ

Дмитрий БОБЫШЕВ	
УВИЖУ САМ Человекотекст, книга 3 ПРОДОЛЖЕНИЕ	74

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

ЮБИЛЕЙ МАСТЕРА О жизни и творчестве Александра Махова	79
--	-----------

НАСЛЕДИЕ

Евгений ЧИРИКОВ	
«ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ!» ОКОНЧАНИЕ	80

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Наталья КРОФТС (г. Херсон)	84
Александр СЕРГЕЕВ (г. Санкт-Петербург)	85
Людмила САНИЦКАЯ (г. Москва)	86
Михаил БАЛАКИН (г. Спас-Клепики)	87
Юрий ШАТРАКОВ (г. Санкт-Петербург)	88
Зулкар ХАСАНОВ (г. Калуга)	96

В КОНЦЕ КОНЦОВ

// ДЕТЕКТИВ НА НОЧЬ //	
Евгений РЫК	
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО Плутовской роман. ПРОДОЛЖЕНИЕ	98
// ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ //	
Ирина ИЛЬИНА	
СТРАННОЕ ЗАВЕЩАНИЕ	108
// «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» //	
Галка ГАЛКИНА	
ПОМАТРОСИЛИ И БРОСИЛИ!	111
// VERIORA VERIS //	
Шалун ГЕО, человек-оркестр	
ДОЛЖНОСТИШКУ Б ЗАЙМЕТЬ, А МОЖЕТ ДАЖЕ И ПОСТ!	112

Заведующая редакцией

Лидия ЗЯБИНА

Заведующий отделом снабжения

Игорь РУТКОВСКИЙ

Специальный корреспондент
по Сибири и Дальнему Востоку

Нила ЛЫЧАК

Редактор-корректор

Юлия СЫСОЕВА

Верстка и оформление

Елизавета ГОРЯЧЕНКОВА

Главный бухгалтер

Алла МАТЮХИНА

Финансовая группа

Лариса МЕЛЬНИКОВА

Заведующая отделом рукописей

Ирина УШАКОВА

Интернет-версия

Наталья СЫСОЕВА

Секретарь-референт

Светлана КИСЕЛЕВА

Дежурные по редакции

Аврора КОТОВА

Людмила ЛОГАЧЕВА

Татьяна СЕМЕНОВА

Татьяна ЧЕРЫГОВА

Людмила ГУДКОВА

Техническая служба

Вячеслав ДРУЖЕЧКОВ

Лиц. Минпечати № 112.

Адрес редакции:

**Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 8, стр. 1.**

Для почтовых отправлений:

125047, Москва, а/я 182, «Юность».

Тел.: +7 (495) 251-31-22, 250-83-98

тел./факс: +7 (495) 250-40-74

Рукописи не рецензируются

и не возвращаются.

Авторы несут ответственность

за достоверность предоставленных

материалов. Мнения автора

и редакции могут не совпадать.

При перепечатке материалов ссылка

на журнал «Юность» обязательна.

Отпечатано в ООО «Красногорская
типография».

143400, Московская обл., Красногорск,
Коммунальный кв., дом 2.

Формат: 60x84/8

Заказ №



Как хорошо, что среди различных, порой размытых поэтических исканий по-прежнему сохраняется нечто возвышенно гимназическое, университетски строгое и в то же время доброе, внимательное и домашнее. А ведь это и есть единственно подлинный, необходимый своей трогательной бесполезностью мир художественного открытия. Мир этот неподвластен практичности и суете, да и времени он тоже неподвластен. Именно в краткие мгновенья сопричастности его законам словно бы сам догадываешься, что «прекрасное должно быть величаво».

Добрый мир гармонии и служения искусству слова сумела раскрыть и сберечь в суете нашей Александра Николаевна Аннинская, передав в наследство дочерям — трем сестрам.

Александра АННИНСКАЯ

(АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА ИВАНОВА-АННИНСКАЯ, УРОЖДЕННАЯ КОРОБОВА)
1933–2010

CURRICULUM VITAE

- Выпускница МГУ (филологический факультет)
- Библиограф Всесоюзной книжной палаты
- Экскурсовод, научный сотрудник Музея Л. Н. Толстого (несколько научно-экспозиционных разработок)
- Редактор литературно-драматической редакции Всесоюзного радио (несколько фондовых радиокomпозиций)
- Преподаватель Института иностранных языков
- Преподаватель Московского архитектурного института (учебник для обучения иностранцев русскому языку с иллюстрациями автора)

Дочерям

Три девочки. Из тьмы небытия
Я вызволила их. Нежнейшие создания!
Три веточки у дерева-меня,
Три звёздочки в бездонном мирозданье.

Три ноты, зазвучавшие в тиши,
Три новых краски на палитре Бога,
Три разных версии моей души,
Три тропки в жизнь от моего порога.

Март 1997 г.



Лев АННИНСКИЙ

СТИХИ ТРЕХ СЕСТЕР

Стихи трех сестер, выросших в одном доме, можно прочитать как три вариации одной души, но — на разных этапах.

В момент, когда решили собрать свои исповеди под одну обложку, младшей — двадцать три, средней — двадцать семь, старшей — ого — тридцать девять.

Стихи младшей, Анастасии, — нетерпеливое ожидание. Вот-вот явится лунный гость... Вместо этого голосами младенцев орут коты под лунной. А когда является — не тот! «Ты и я — как да и нет. Ты и я — как явь и бред». «Из надежды в отчаяние и опять в надежду». «Где-то счастье мое живет...» А если счастья нет? А если нет — сдохну всем назло: «Не прижилась!» Этот нервный максимализм — от ожидания любви, от всепоглощающей готовности к любви, от бешеной способности к любви, которая осознается почти как

Наказание. Первые разочарования изумляют и ошарашивают. «Твоя любовь ко мне велика и глубока, как океан. Но как холодна океанская вода!» — Да не вода холодна, а ты горяча, твое сердце горит, твоя душа летит, не желая знать препятствий.

Средняя сестра, Екатерина, созерцает этот полет со скепсисом и горечью. «На свечу летит мотылек, попадает в жгучий огонь». Бабочкой порхает гений, а его ловят и булавкой пришивают крылья — от большой любви, конечно. Жизнь гасит порывы, не дает поднять голову. Мечта ускользает, блекнет, как луч луны в свете дня, а свет дня плосок, трезв и убийствен для души. Душа от этой жизни — отгораживается. Все идет в дело: сны и сказки, легенды о русалках и томики Толкиена. Сны несбыточны, русалкам с их хвостами нечего делать в нормальной жизни, сказки быстро кончаются, а впереди — холода. От холодов, от этой реальности душа — прячется.

Старшая, Мария, понимает: от этой жизни не отгородиться. Обернувшись к сестрам, она суммирует свой опыт так: «Отдай себя на растерзанье псам, будь искренним, когда тебя дурачат, поддайся лжи и грех прости. Но сам не слишком верь томящим душу снам». (Екатерина скажет в ответ: вот еще! Не поддайся! Анастасия затаится, но снам — втихую — поверит.) Мария выносит из жизни главный урок: терпение. Терпи, дружок, эту муку. Живи просто,

мудро и без правил, потому что правила и законы — призрачный бред. Надо смириться с тем, что этот мир и есть единственный удел, и «он, увы, настоящий». А как душа стремилась в небо, как хотелось вырваться из этого «настоящего»! Но... куда? В черноту абстракций? Где-то маячит журавлик, хочется крикнуть ему: не улетай! — а синица уже в руках, и это завершение сюжета: «Не было такого, чтоб журавль, попавши в руки, вдруг не стал синицей».

Екатерина, под ледяным дождем шлепая по лужам, тоже знает, что где-то, в небе, над месивом туч, «разбрызганы звезды», и журавль, наверное, летает, но чтобы все это разглядеть, надо поднять голову. Скептик этого движения не сделает.

Романтик не только сделает — он схватит синицу, и... Анастасия держит в руках синицу — как журавля! И с самым неожиданным чувством — она птицу жалеет! «Что за чушь — пичуга в кулаке!» А если журавль шляется где-то в небесах, то он малоинтересен в сравнении с беззащитным комочком на ладони.

Все трое — мечтают улететь с этой земли куда-то. «Давай оставим эту землю, где мы — незваными гостями...» «Уходишь ты... Ну что же — возьми с собой меня...» «Я так бы в небе и осталась, но что мне делать там одной?» — говорит средняя.

«Мне б улететь навеки в морозную звездную даль... Нет на земле человека, с которым расстаться не жаль», — говорит младшая.

А старшая, глядя на них, думает: летите, летите. «А потом все оборвется в пустоту. Ах, кого подхватит ангел на лету?»

Так что же: притерпеться к холоду?

Средняя упирается: а нам немного и надо, но уж что отогреем — то наше!

Младшая притворяется: «Я маленькая кошка из свиты короля, мне нужно так немножко: не прогоняй меня!» (При случае поцарапает. Между прочим, эта песенка, спетая автором, попала в список хитов соответствующей компании.)

Не верьте, что им нужно немножко: те, кому нужно немножко, стихов не пишут. Но они не надеются на ледяном жизненном ветру удержать много. Поэтому и грустят.

Извечный круг терзаний души, пытающейся сохранить тепло в холоде ветра.

Можно и в ином контексте прочесть стихи трех сестер: не в «извечном круге» чувств, а на «столбовой дорожке» истории.

Тогда надо начинать со старшей.

Мария рождена в конце 50-х, между двумя «оттепелями», когда Сталин еще лежал в Мавзолее в неостывшем гробу. Она выросла под песни Окуджавы, петье ей родителями-шестидесятниками. Она еще застала веру в слово, способное переделать реальность. Она еще присягает «Марине и Анне». Крушение последних бастионов коммунистической утопии в 1991 году и первых бастионов демократической утопии в 1993-м ей не очень важно, но общее нашествие злых сил и проклятость «этого места» она воспринимает с болью и отчаянием. Безумные дни, страшная игра, ложь перемешана с правдой. И это — «мой народ»! Да: «Ты — мой, а я — твоя». Можно сколько угодно гулять по Парижу во сне или наяву, но жить приходится там, где пригвоздил Бог. «Я живу в Богом проклятой, Богом забытой стране, потому что в другой — жить другим, а не мне».

В «другой» — живет Екатерина: в стране русалок, хоббитов, флибустьеров, «белых крыльев и парусов». А что же об этой стране, в которой родилась? А об этой — так: «Я родилась среди развалин, где ни травинки не росло, лишь камни мертвые лежали, да пыль, да битое стекло».

Екатерина родилась среди помпезных лозунгов, в момент, когда советское государство, собрав последние силы и чуя подступающее бессилие, — справляло столетний юбилей своего основателя и украшала его именем фасады и колбасы. Под этим уже ничего не было. Когда лозунги сдуло, обнажились руины. Отсюда только в сказку. В горький юмор.

Для Анастасии государственной и исторической реальности вообще нет. Освенцим, Великая Отечественная война в ее сознании — какая-то полоумная абракадабра, где перемешаны виновные и невинные. Всю эту историю с ее армиями, вооруженными толпами лучше всего было бы утопить. «В капле утренней росы».

Это желание странно только на взгляд людей, выросших в атмосфере всеобщей веры. Люди, освободившиеся от нее, видят все иначе. Дым Истории отлетает. Дым Отечества рассеивается. Остается — дым очага.

Стихи трех сестер можно прочесть и как три вариации одного вечного сюжета, который, наверное, останется актуальным и в обозримом времени, — странствия души, ищущей Дома.

В 1977 году, когда старшей исполнилось девятнадцать, а ее сестрам соответственно — семь и три, — старшая единственный раз обратилась в стихах к сестрам, видимо, впервые ощутив себя в соста-

ве единого с ними клана. Стихотворение содержит все приметы уютного отчего жилья, в котором начинается бытие: скрип стульев и дверей, шуршание газеты, шум воды в кране, молчанье детских рисунков, и, конечно же, кот, и, конечно же, пес, а прежде всего — добрый Домовой.

Младшие сестры воспримут эти образные приметы, и они войдут в их мир. Включая кота и пса.

Воспримут и то, что Домовой, бродящий по Дому, грустен. А Дом — пуст, потому что он без детей. А в тишину Дома врываются с улицы странные, загадочные звуки-знаки.

Три сестры мечтают о Доме, полном голосов, о Доме — центре мира. Но ни у одной сам Дом центра не имеет. В качестве такого центра можно многое представить себе. Когда-то это была бы печь, которой теперь нет. Теперь это мог бы быть стол. Письменный — как символ умственных трудов. Обеденный — как символ общей трапезы. Это могла бы быть постель. С акцентом на отдохновении от трудов. Или на эротике. Это мог бы быть, наконец, очаг — в любом современном исполнении, вплоть до микроволновки.

Ничего похожего. Дверь — главная деталь Дома! Порог.

У Марии — острейший момент: лирическая героиня, только что указавшая лирическому герою на дверь, смотрит, как он застыл на пороге... уйдет? не уйдет?

У Екатерины мнимая идиллия: лирическая героиня укладывает лирического героя спать. Вместо колыбельной она рассказывает ему, как завтра они поищут дверь в стене.

У Анастасии героиня, зябко ежась, провожает возлюбленного до порога и бросает ему вслед, как серебряные монеты, блики лунного света.

Везде — порог: магическая черта, разделяющая Дом и Мир. Дом — как средоточие непрочной защищенности и мир — как источник непрерывной опасности.

Что в генной памяти трех сестер посылает такие сигналы? Что в их наследственной природе держит их и что мучает? Там скрещиваются: русская земная расчетливая домовитость и русская же текучая нерасчетливая самоотверженность, еврейское «висение в воздухе» в ожидании беды и огненная казачья бесшабашность... Может, все четыре стихии — земля, вода, воздух и огонь — есть во всех троих, но в каком соотношении, вряд ли знают они сами. Как не знают и того, ЧТО их спасет и ЧТО защитит в подступающей реальности.

Стихи? Да. Стихи — как форма саморефлексии, самодисциплины, самозащиты. А если хватит поэтической техники — так и форма жизнестроения, делающая человека счастливым.



Я счастлив процитировать удачное.
У Марии — этюд, соединяющий ясность и горечь:

Любовь стареет: и она не вечна.
Где были прежде россыпи цветов
И буйство трав — теперь гуляет ветер,
И старые бумажки вихрем кружит,
И пыль гоняет на пожухлом пустыре.
А новый рай второй раз не родится:
Нет у Земли ни времени, ни сил
Такою чепухою заниматься.
Моя вселенная стареет, и другие
Свои оазисы в сухом песке раскинут
И будут их лелеять до поры.
А что, скажите, на Земле еще
Имеет право истиной считаться,
Как не любовь? Но здесь ее так мало...

И — подкупающая спокойная готовность все вынести:

Жить я буду без тебя, без тебя
Замирая, умирая и — любя.
А когда совсем умру
невзначай,
То тебя да не коснется печаль.
Я умру совсем одна, на заре.
Будет холодно и звонко на дворе.

У Екатерины — этюд, отмеченный хорошо взвешенным, но сочным юмором, заверченный в своей лаконичности:

Сидел Платон,
Жевал батон
На камне у большой дороги,
И мысли греческие в нём
Вели неслышно диалоги...

Впрочем, диалоги — почти несбыточность. В мире, где ложь, глупость и боль, говорить невозможно даже с Богом. Мы у него крупницы счастья воруют из-под замка, и рай нам виден только через окошки, а ворота в рай...

Что ж, ворота для нас закрыты,
Сотни лет они на запоре.
Но мы тоже не льком шиты,
Мы отыщем дыру в заборе.

Улыбкой прикрыта горечь. Это тоже — попытка сопротивления. Что наше, то наше!

У Анастасии — диптих, полный неуправляемых страстей, отражающий спасительную смену настроения:

Ты ворвался в жизнь мою,
Словно ливень в жаркий день,
Словно солнца яркий луч
В многовековую тень.

Был — как дерево в степи,
Был — как рана на руке,
И растаял, словно след
На морском песке.

Это — февральское. А вот мартовское:

Ты ворвался в жизнь мою,
Словно крот в мышинный ход,
Словно боров в огород,
Словно в воду бегемот.

Был — как клякса на листе,
Был — как пеня в густом лесу
И исчез, как подлый кот,
Спёрший колбасу.

Дети мои! Будут в вашей жизни и коты, и боровы, и бегемоты. Греческие мысли будут неслышно вывихивать вам мозги. Будет холод, будет звон, будет и смерть. И будет то, чего не может коснуться смерть.

Да поможет Слово в пору, когда никто из нас уже не сможет вам помочь.

1997 г.

* * *

Постскриптум семь лет спустя

В 2004-м Марии сорок шесть, Екатерине тридцать четыре, Анастасии тридцать.

Мария продолжает созерцать горести мира с грустной улыбкой. Что же делать, мир такой. Сердце разрывается? На то оно и сердце... Господь молчит? На то оно и молчание... Все проходит, все исчезает, все обесценивается. Бегут годы, сменяются века, загадочно глядит в вечность тысячелетия, вот уже мост в 2000 год виден... не видно только конца разочарованиям. Нет, не личным — то, что в твоей судьбе «второго раза» не будет, предначертано, но «второго раза» не будет и в мирозданье. «Нет у Земли ни времени, ни сил такую чепухою заниматься».

Ну, и... как жить в такой чепухе?

Улыбаться неизбежности. Лечиться юмором. Не ожидать чудес.

Но душа, обретшая опыт, смирившаяся с судьбой, готовая к тому, что «все оборвется в пустоту», — вдруг спрашивает с надеждой:

Ах, кого подхватит ангел на лету?..

— и сердце трепещет, сжимаясь от надежды, и на мгновенье воскресает в нем та доверчивость, с которой вошла когда-то девочка в мир, казавшийся таким звонким, а оказавшийся таким холодным.

Екатерина, не оборачиваясь на старшую сестру и, наверное, не зная, не слыша холодного звона несбыточности в ее поэтическом мире, — попадает в ту же ноту: «А от Тьмы веет древней тайной, звонким холодом звездной дали — серебристо-певучей, хрустальной, волшебством с оттенком печали».

Если Мария все принимает с печальной улыбкой — у Екатерины этот оттенок сметается крутым волевым напором. Она старается рассчитать силы, и не Фатум разгадывает, всматриваясь в зеркало бытия, а реальное соотношение сил. Нас ждет беда? Встретим. «Ошибки, промахи, сомненья?» Переживем. Нет надежды? Ничего, надо «сжать упрямо рот» и карабкаться дальше. Дальше и выше... Но с вершины выхода нет? Посмотрим. Господу богу мы надоели с нашими проблемами? Ну и что! Сотворим нового бога, новое небо, новую землю. Нет двери в стене? Ищи! Не найдешь — твори все заново: «И конец может стать началом!»

Началом — чего?

«Неважно сейчас. Не хочу просыпаться».

Так эта заново сотворяемая реальность — сон? Фантазия? Сказка?

Да, сказка. И не мешайте рассказывать...

При этом замыкании в фантазию вопрос о выходе снимается сам собой. Вернее, он заменяется: нет выхода разуму, зато есть выход энергии. «Повернуть бы назад, да поздно. В пропасть времени сказка канет. Мы ломаем крылья о воздух, обращенный внезапно в камень».

Дети, на глазах которых распалась в прах громада жизни, казавшаяся такой каменной, гранитной, мраморной, видят пепел вокруг и говорят: все вернулось к началу, таким мир и был до бога, без бога. Не на кого оборачиваться.

Между «слишком хочется обернуться» и «мы уйдем, не попрощавшись» — мается душа, убедившая себя, что прощаться не с кем, но так и не примирившаяся с потерей. Раз так, надо оковать себя скафандром воли. «Что подделаешь, так вышло». Есть тропа — иди. Нет тропы — прорубайся. Бессмысленно спрашивать: за что? зачем? Мир — ледяная бездна, бездонная пропасть, безвидимая мгла...

Вдоль кромки пропасти гонит вперед беда,
И рвётся тропинки нить.
Чтоб удержаться, вовсе не нужно «да»,
Достаточно «может быть».

Но в этом «может быть», выдохнутом из-под забрала, — вдруг отзывается тихий вздох старшей сестры: «Ах, кого подхватит ангел на лету».

Анастасия тоже рассказывает сказку, но без всякой жесткой программности. Интонация веселой баешницы. «Идут девицы красы писаной, сидят другие за темными шторами, и будут вторые глупыми курами, а первые станут хищными лисами».

А ты? Ни с теми, ни с другими. «Я простая кошка». Правда, эта кошка живет в доме, то бишь во дворце, и числится в свите Короля, но гуляет в доме сама по себе и видит счастье только в том, чтобы смотреть на Короля, когда захочется, а не когда полагается.

Краски яркие, и характер вроде бы веселый, и дом — пестрый, звонкий... Да вдруг и в этом звоне отзывается что-то ледяное. «Новый цвет изобрету, нарисую им мечту, нарисую им любовь... и сотру».

В ярких, прихотливых строках Анастасии, столь не похожих на жестко-четкие строки Екатерины и затаенно-горькие строки Марии, душа вдруг обращивается туда же: в фантастическое зазеркалье. Жизнь — выдумка, карнавал. «Мы с тобой рисуем маски то веселые, то злые; то крылаты, то бескрылы, то из были, то из сказки...» Вынырнуть из сна — и опять нырнуть. Уйти, не прощаясь. Встретиться и вновь потерять. Жизнь — круг. «Зрачка округлость, сфера Солнца, монеты, кольца и венки».

Иногда кажется, что и в этом ярко-радужном спектре есть линии из палитры Екатерины. «Жизнь вокруг не реальнее бреда». Но у Екатерины эта линия ультрафиолетовая, а тут — инфракрасная. «Надо было тогда... Кто же знал?.. Что же будет теперь и — потом? И ответ “никогда” прозвучал, словно врезали воздух кнутом».

Дети безвременья противостоят безвременью. Звонко-ледяной мир вокруг. Неотвратимое «никогда» в душе.

Но как по волшебству вдруг распрямляется душа, и чем простодушнее, тем вернее:

Спускаюсь снежинкой на твой рукав,
Растаю льдинкой в твоих руках,
Цветком подснежным приду весной
И лишь с рассветом развеюсь сном...

Ах, опять сном?..

Держитесь, милые. Летите. Рейте.

И да подхватит вас на лету ангел. Всех троих.



МАРИЯ

Из книги «Знаки препинания»

Перед дорогой

Клубочком свернулась у двери,
 Как кошка, чёрная сумка;
 Два длинных ослиных уха
 Насторожил торшер;
 Диким косится глазом
 Колесо велосипеда,
 И гордо глядят подушки
 С кавказских своих вершин.

Стрекочет за окнами дождик,
 И осень шлёпает сочно
 По мокрым опавшим листьям
 Резиновым сапогом.
 Вчера ещё было лето,
 А нынче спустился дождик
 По лестнице ветра на землю,
 Чтобы меня проводить.
 Он ждёт меня у вагона,
 Покашливая сердито,
 Тоскливо плюя на камни
 Перевернутых облаков...

А я, затаив дыханье,
 Ещё притворяюсь спящей.
 Меня качает память
 На волнах своих седин.

1979 г.

Я играю в поэтессу

Я играю в поэтессу,
 Я пытаюсь стать другой.
 Я играю и в процессе
 Становлюсь сама собой.
 Я рождаюсь, возникаю;

Я, увы, плохой поэт,
 Но одно я твёрдо знаю:
 Выхода иного нет.
 Мои робкие творенья
 Не увидят белый свет.
 Ни хвалам и ни гоненьям
 Не подвергнусь я в ответ.
 Может, только друг случайно
 В руки мой возьмёт блокнот,
 Поглядит в него печально,
 Усмехнётся и зевнёт.
 Ни читателей не надо,
 Ни ценителей скупых!
 Мне дана одна награда —
 Независимость от них.

1978 г.

Город без тебя

1.
 Когда ты уходишь из моего дома,
 Я утешаю себя мыслью,
 Что ты где-то есть,
 На другой улице.
 В другом доме.

Когда ты уезжаешь из моего города,
 Я утешаю себя мыслью,
 Что ты есть,
 Где-то далеко,
 В другом городе,
 Но ты есть.

Если ты уедешь далеко-далеко.
 Я буду утешать себя мыслью,

Что ты всё же есть где-то,
Пусть далеко,
Но ты всё же есть
На этой земле.

Если ты умрешь,
Я буду утешать себя мыслью,
Что ты всё равно есть,
И пусть не на земле,
Но где-то в этом мире
Всё равно ты есть.

Ведь ты не можешь исчезнуть,
Пока я думаю о тебе.

2.
Как не похожи взгляд женщины,
которая носит в себе ребенка,
и взгляд женщины, которая сама по себе, —
так не похожи город, в котором ты есть,
и город, в котором тебя нет.

Яйцо без зародыша;
сосуд без воды;
взгляд без мысли;
дом без хозяина;
одна форма, без всякого содержания.

Как странно, ведь эту форму
я могу наполнить теперь
другим содержанием;
я могу придумать тебя такого,
каким я хочу, чтобы ты был.

1980 г.



ЕКАТЕРИНА

Из книги «Вдоль кромки»

Платон

Сидел Платон,
Жевал батон
На камне у большой дороги,
И мысли греческие в нём
Вели неслышно диалоги...
Сентябрь 1989 г.

Фантазия

Я родилась среди развалин,
Где ни травинки не росло,
Лишь камни мёртвые лежали,
Да пыль, да битое стекло.

Гремели речи, марши, гимны
И заглушали крик ворон.
Дворцом казались мне руины,
Где я бродила средь знамён.

Истасканных, полуистлевших,
Обглоданных былой войной,
Среди портретов надоевших,
Следивших пристально за мной.

Но я однажды убежала,
И мне открылись чудеса:
Долина впереди лежала,
Сверкала искрами роса.



И, обернувшись, я открыла,
 Что мой дворец, мой храм, мой дом
 Давным-давно уж пыль покрыла
 И жизнь уже остыла в нём.

Забуть его, бежать на волю,
 Где дышит жизнь, где воздух чист,
 Для новой радости и боли
 Открыть поспешно чистый лист!

И полно, жить смогу едва ли
 На солнце, на лихом ветру:
 Я родилась среди развалин
 И, видно, среди них умру.

И я дорогою знакомой
 Уныло побрела назад...
 Но всё из-под обломков дома
 На луг бросаю жадный взгляд.

Лето 1990 г.

Не уходи. Помедли.
 За окнами темно.
 И фонари ослепли
 На улицах давно.

Глаза домов тревожны,
 Вдоль улиц и дворов,
 Дрожа, крадётся дождик,
 Скребётся у ворот.

Постой же на пороге:
 Едва шагнёшь за дверь,
 Назад уже дороги
 Ты не найдёшь, поверь.

Туман тебя поглотит,
 Сдавив, прижмёт к земле.
 Утонешь, как в болоте,
 В его белёсой мгле.

Мороз дерёт по коже.
 Давай дождёмся дня!
 Уходишь ты... Ну, что же,
 Возьми с собой меня.

Июль 1997 г.



АНАСТАСИЯ

Из книги «Линия жизни»

Сон

Мне как-то приснилась одна страна,
 Такой на свете, наверное, нет,
 Там утром всходит луна,
 И бледно-серый у солнца свет,

Там есть улыбки наоборот,
 Там убивают друг друга, любя,
 Там ночью под звёздами бродит урод,
 Но он никогда не видел себя.

Весной там ландыши не цветут,
 И осенью к людям приходит май,
 Там дети отдельно от взрослых живут,
 Там вместо «привет» говорят «прощай»,

Там слушают пенье птиц по ночам,
 Там чёрная радуга над рекой...
 Прийти б, остаться и — сгинуть там...
 Но нету на свете страны такой.

1990 г.

О войне

«Война» — «...как много в этом слове...»
 Для сердца каждого слилось...
 И что-то в нём оборвалось...

В войну погибли миллионы
 Безвинных и виновных душ.
 Не свадебный, а похоронный
 Игрался марш под залп «катюш».

Невесты — как на негативе,
 Из белых в чёрных обратясь,
 Ждут женихов в пустой квартире,
 Не за себя — за них молясь.

Страна, хрипящее дыханье
 В крови и боли утопив,
 Последний взвод послала к ране,
 Своих солдат благословив.

В безумном, страшном иступленье,
 Различны лишь по языкам,
 В бреду, в болезненном затменье
 Стреляли люди по «врагам».
 Ох, люди, люди, не хвалитесь,
 Что побывали на войне.
 Своей победой вы гордитесь,
 Своими ранами — вдвойне.

За подвиг вам сошли убийства,
 «Мы защищали» — ваш ответ.
 Но среди русских и арийских
 На небе Душ различья нет.

Лето 1990 г.

* * *

Я вылетаю из метро,
 Подрамник бьётся о бедро,
 И тут я вижу — ты идёшь с гитарой.
 Тебе, конечно, всё равно:
 Ты сдал проект давным-давно
 И не торопишься совсем к началу пары.

Я начертила весь проект,
 И «родила» вчера макет —
 Над ним всю ночь сидела, чуть не плача.
 А ты плетёшься впереди,
 И ни проехать, ни пройти,
 И я боюсь, что не успею к сдаче.

Родной фасад, родной забор,
 Залитый солнцем старый двор.
 И птичье пенье, и всю сирень цветёт.
 А я бегу проект сдавать,
 И мне б не видеть и не знать
 Что у фонтана пиво пьёт народ.

Ноябрь 1992 г.

Анна УФИМЦЕВА



Здравствуйте, уважаемая редакция журнала «Юность»!

Меня зовут Анна Уфимцева, я учусь на 4-м курсе биолого-почвенного факультета СПбГУ и хотела бы поучаствовать в создании очередного выпуска. Я написала статью, сообщение о своей летней практике этого полевого сезона. Там я обращаю внимание на трудности организации особо охраняемых природных территорий (ООПТ), на то, что финансирование распределено неравномерно, а люди там работают замечательные — в заповеднике, национальном парке, — и рассказываю о жизни этих сотрудников и организаций, охраняющих нашу родную природу.

Статья отражает мысли полевого биолога о нашем будущем, о профессии, взгляд студента на работу взрослых биологов, экологов, лесничих.

Если мой материал можно послать в номер журнала, я с радостью обговорю с вами, какой объем он должен занимать, можно ли приложить фотографии и т. п.

С нетерпением ожидаю ответа, Анна

От редакции

Дорогие юноши и девушки! «Юность» в любые времена бережно и внимательно относилась к вашим мыслям и чувствам, бедам и чаяниям, надеждам и поискам. Нам важно, чтобы вы не превращались в офисный планктон, в автоматы по переработке денежных знаков и потреблению удовольствий. Стать личностью, остаться Человеком, сбереечь Родину — это не пустые слова, об этом свидетельствует и редакционная почта.

Помните, как яростно мы спорили о «поколении пепси», о «нулевых»? А какой радостью несколько лет назад для нас стало письмо девятнадцатилетнего студента из Брянска, в котором он впервые за долгие годы напомнил корчагинское

«чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...».

Читатели не только спрашивают: «Во что превращается наше общество, страна?», они показывают примеры созидательного труда и скромного быта. Это особенно важно, когда во всех структурах и во всех областях появляются новоиспеченные крикуны, жаждущие подороже продать себя на рынке (рабов?).

Что же реально стоит за безразмерными амбициями? Чаше всего пустота, жажда мошенничества и страсть к золотому тельцу.

Неужели мы уже и забыли, когда просто, взвешенно делали важное для родного уголка дело, размышляя о том, что же останется от нас на земле?

К сожалению, сегодня деньги стали и целью, и средством, и мериллом. Отовсюду звучит «мы любим деньги!», «жадность — это круто», да и столица превратилась в один большой ларек...

Слава богу, есть и другая музыка в жизни, иная молодежь. Очень надеемся, что за ней будущее.

Не так давно горели леса по всей Росси, огонь уничтожал дома и посева, гибли люди. Что же происходит в нашем лесном хозяйстве, в заповедниках? Кто сможет сохранить несгоревшее? Чьи амбиции этому помешают?

Мы сознательно даем материал студентки из Санкт-Петербурга без сокращений — глубина темы заставляет! Ждем ваших откликов.

ОДА НЕАМБИЦИОЗНЫМ

Говорят, нынче в моде амбициозные люди. В газетах читаю о предприимчивых, активных. И мама мне рассказывала, что у них на производстве только и слышны призывы: «Нам нужна амбициозная молодежь!», «Смело выдвигайте себя!» и тому подобные. Не важно, что ты можешь на самом деле. Похоже, никто в этом разбираться не будет. Главное — заявить о себе, поднять руку и громко произнести: «Я могу это сделать!..» Главное — уметь продать себя на рынке труда. Столько курсов, чудодейственных тренингов вокруг, «повышающих самооценку», «помогающих быть уверенным в себе и найти достойную работу» и т. п. Наверное, это хорошо. Наверное, это себя оправдывает. Иногда. Не мне судить, есть ли результат. Я не об этом. Меня мучает вопрос — а НЕамбициозной молодежи что делать?

Видимо, в современном мире надо все-таки пробиваться в амбициозные, на всякий случай... Я тоже хочу быть нужной.

Учусь на биолого-почвенном в СПбГУ. Уже четвертый курс, скоро диплом бакалавра защищать. На что бы решиться, думаю. Где мои амбиции могут пригодиться? После третьего курса, этим летом, подросла практика, и я — вольная в выборе — решила ехать в родные уральские леса, вот где, наверное, пытливые студенты-биологи нужны. Помогу там лесничим, чем могу, может, и подскажу чего. Ведь я из Петербургского университета все-таки!

Итак, поезд Екатеринбург — Североуральск, еду в заповедник «Денежкин камень». Это уже не родной средний, а северный Урал, заповедник расположен на восточном склоне Главного Уральского хребта. При общем знакомстве с информацией о заповеднике на его сайте у меня захватило дух от слов «здесь сохранились, несмотря на потери от пожаров и рубок, довольно крупные участки первичной горной тайги, являющиеся резерватом для многих особо ценных, редких и эндемичных видов уральской горно-таежной флоры и фауны». Вот что стоит стремиться увидеть! Сказочная тайга!

И вот я нахожусь уже в селе Всеволодо-Благodatское (сокращенно — во Всеволодске), «базовом лагере» работников заповедника, и знакомлюсь с

сотрудниками «Денежкиного камня», их обязанностями и распорядком. Несколько сотрудников работают в конторе в Североуральске, примерно столько же — в конторе во Всеволодске. Раз в неделю, во вторник, группа научных сотрудников забрасывается собственно в заповедник для прохождения феномаршрута, в тот же день вечером уезжает с территории в город или село. Егеря и научные работники, которые остаются в заповеднике на более долгий срок, забрасываются с этой же машиной, и в пятни-



Граница заповедника

цу она за ними возвращается. Егерей в штате всего с десяток человек на всю горную территорию, научных работников в заповеднике официально четыре человека. Основная работа егерей — постоянное строительство сожженных браконьерами кордонов, бесконечные опасные рейды на одной машине (и пешком, конечно) по максимально большой территории. «Одному в заповеднике находиться нельзя по технике безопасности, сейчас у медведей еще идет гон, так что даже по двое не ходим, на всякий случай. Что? Взять вас с собой на ловлю браконьеров? Нет, зачем это нужно, мы детей опасности не подвергаем. Ругаться матом со злыми вооруженными дядьками — нет, не детское это занятие», — отвечает на мои вопросы директор заповедника Анна Евгеньевна Квашнина, которая мило называет всех приезжающих к ней практикантов «детьми».



Вид из села на гору Денежкин камень

У директора в распоряжении — лесные дороги, по которым пятнадцать километров в час — это уже мастерство водителя, и бортовой старый уазик, где на второй час езды к кордону все пассажиры и вещи стряхиваются в один угол. У всех егерей при себе сомнительной силы полномочие обороняться оружием от браконьеров, которые без всяких разрешений и предупреждений палат не только по животным, но и по людям, сжигают дома лесников. Как за день при таких обстоятельствах обойти-объехать наряду из нескольких человек территорию в семьдесят восемь тысяч гектаров? Для тех, кто плохо представляет себе расстояния: пешком сотрудники заповедника могут пройти территорию (горную!) дня за три, менее подготовленные люди — ну, раза в три медленнее. Может, амбициозные сумеют быстрее и ловчее?

В самом заповеднике, на лесном кордоне, я живу под надзором и руководством ученых из Сибирского отделения РАН супругов Ливановых — Станислава Генриховича и Натальи Николаевны. «Крайний юг Северного Урала», — с улыбкой описывает наше местоположение Станислав Генрихович. С ним мы проводим маршрутные учеты птиц, а с Натальей Николаевной обновляем, чиним «заборы» для от-



Выводок гоголей в лесном озере



Галина Михайловна измеряет температуру в реке Шарп на феномаршруте. Температура +4.5 градуса

лова мелких млекопитающих, а также «косим» клещей для исследований их трофических связей в экосистеме тайги. «Кошением» отлов клещей называют потому, что это очень напоминает кошение травы, только вместо косы — палка с прикрепленным на конце белым полотенцем — «флагом». Инстинктивно клещи цепляются за подставленную ткань, и темные точки на белом фоне затем нетрудно собрать в пробирку. Спокойная, размеренная обстановка, которую Ливановы создают на кордоне, соответствует моим представлениям о полевой деятельности биолога. Ни одной минуты не проходит зря — я получаю важную (потому что *практическую!*) информацию о птицах во время учета и экскурсий по лесу. Вечерами, в полумраке, завязывается научная беседа, когда я больше слушаю, нежели говорю, — столько опыта, различных тонкостей полевой работы, сколько дает живое общение с маститыми исследователями, не найти ни в каком учебнике самого лучшего университета.

Когда в заповедник приезжают сотрудники для прохождения феномаршрута, я отпрашиваюсь в путь



Илга (Юля) Соколова на феномаршруте

вместе с ними. Кругом сопки, горы — вверх-вниз, вверх-вниз... Утрами и вечерами с гор наползает туман — молоко, в котором не то что видеть, а даже просто дышать трудно — не воздух, а вода. Вот тропа потерялась в курумниках — почти безлесных склонах гор, где каждый камень оброс мхом и лишайниками, а все вместе они так причудливо навалены друг на друга, что огромные валуны могут от одного прикосновения перевернуться под ногами. Сотрудники заповедника Галина Михайловна и Илга уверенным и быстрым шагом ведут нас по лесу и камням. Во время остановок на станциях Галина Михайловна измеряет температуру, влажность воздуха и температуру воды. Также в ее обязанности входит регистрирование феноявлений в специальной таблице. Илга, которая предпочитает, чтобы ее называли просто Юлей, собирает из ловушек насекомых. «Я поставила ловушки на них первый год, так что не знаю, что получится в результате, — смеется она. — На самом деле для реального учета нужны более серьезные установки и больше, намного больше станций отлова, но мы не можем себе этого позволить. Успеть бы все выполнить и к машине вернуться, так что о расширении исследований пока не думаем. Плюс у меня еще дела в конторе в Североуральске — мне в лес часто не поездить». Днем

жарко; всю дорогу по лесу наш феноотряд сопровождает тучка мошек и слепней, на которых внимание обращают больше в шутку: «Сколько мы животных передавали! Давайте-ка лучше помажемся “Дэтой”, пусть живыми отлетают». Однако когда мы выбираемся на вершину Шарпинской сопки, от насекомых не остается и следа, а мокрая спина сразу замерзает от сильного ветра. Под нами — море леса, холмы кажутся покрытыми ровной травкой, и только силой мысли заставляешь себя вспомнить — это высокие деревья, и если среди них сойти с тропы — ничего не стоит заблудиться в тайге надолго. Смешным островком белеет вдалеке крупный поселок района — Сосьва, а нашего маленького Всеволодска так и вовсе не видно.

Сказочная тайга... Сколько она, бедная, претерпела на своем веку — при Хрущеве заповедника вообще не существовало. На территории вдвое большей, чем «Денежкин камень» сейчас, был создан госпромхоз — там, в том числе, разводили северных оленей. Вот, скажете вы, и решение всех «егерских» проблем — уничтожить заповедник, и никаких облав и обходов не нужно. Да только вот после нескольких лет существования госпромхоза со ста сорока трех тысяч гектаров могли собрать только восемь-десять лесей и двадцать — двадцать пять куниц за сезон, пото-



Я «кошу» клещей в заповеднике.
Фото Н. Н. Ливанова, СО РАН

му что лес «переэксплуатировали», хозяйствовало в нем нерационально, на потребу сиюминутной жажде прибыли. Бедный лес, вырубленный лес, проданный и нищенски обобраный... В таком состоянии «Денежкин камень» вновь отдали ученым в 1992 году, сократив территорию почти вдвое. К настоящему времени численность многих видов удалось восстановить: как я поняла за время моего полуторанедельного пребывания в заповеднике, есть большая вероятность, что за тобой настороженно наблюдает с расстояния нескольких метров дикий зверь, когда идешь по лесу. Сколько раз за поворотом дороги мы находили свежайший след лося — зверь, услышав нас, убежал с дороги в чащу, видимо, провожал нас глазами и снова выходил на свою тропу...

Вот она — моя природа, и вот она — я, молодой специалист, как у нас любят говорить в стране, и я готова биться за эту нашу природу с браконьерами и «деревянными» чиновниками. Я даже готова стать директором заповедника (где будут трудиться знакомые мне сотрудники — дружелюбные, терпеливые, выносливые) — а дальше что? Где ты, государство, где твоя помощь? Ты же меня призвало на свершенье больших и важных дел, ты же пишешь на каждом

углу: «Природа — наше богатство»! Это все слова, у нас очень любят лозунги. А простые люди в глубинке живут до сих пор на одном энтузиазме, потому что они любят свою Родину. Слышишь, государство? Не тебя, а Родину — ту, которую я с детства пишу с большой буквы. Им не до амбициозности — лишь бы государственные гроши поступали вовремя, лишь бы браконьеры не перестреляли все живое, а неживое — не пережгли, лишь бы узик из очередного рейса вернулся. Научные (и ненаучные) сотрудники живут и работают без пафоса. И для нас, для вас, для тебя эту самую тайгу стерегут. Это благородное, но не благодарное дело. Печальный опыт прошедшего лета показывает, что в каждом заповеднике и лесничестве необходим штатный вертолет с финансированием его содержания и эксплуатации. Почему «Денежкиному камню» нужно было гореть несколько недель, чтобы туда направили ОДИН пожарный вертолет? Или власти считают, что вертолет нужен сотрудникам только для тушения пожара? Богатые люди в нашей стране позволяют себе с личных вертолетов расстреливать диких животных ради потехи. У заповедника должен быть ответ — воздушный патруль территории. Особенно когда это семьдесят восемь тысяч гектаров северной горной тайги.

Заповедник — организация для обывателей закрытая. Может быть, поэтому для государственного финансирования неприметная? Может быть, в других местах иная картина? Давайте проверим. И вот я уже в единственном в Свердловской области национальном парке — в «Припышминских Борах», в районе города Талица (между прочим, город этот — родина легендарного советского разведчика Николая Кузнецова, есть чем гордиться местному населению, но это другой разговор). Встречают меня как гостя дорогого. Охотно рассказывают про парк — свою вотчину, гордость и... головную боль. «Прежде всего



Наталья Владимировна Дюбанова, Вера Борисовна Вахрушева,
Светлана Александровна Котлова в научном отделе





Музей национального парка «Припышиминские Бору»

нужно понять, что национальный парк организован не только с целью охраны, но и с целью рационально-просветительного использования больших участков сосновых боров — то есть с целью приобщить человека культурно общаться с лесом, научить нас щадяще использовать его ресурсы», — говорит начальник отдела науки, экопросвещения, туризма и рекреации Наталья Владимировна Дюбанова. Из всего массива лесов на территории охраняемыми (т. е. включенными в национальный парк) являются лишь десять процентов. Часть из них открыта в разной степени для посещений туристами, и лишь совсем малая

часть является заповедной. Менее десяти процентов лесов — но и они охраняются практически лишь на бумаге. «Мы находимся на федеральном бюджете, — Наталья Владимировна продолжает вводить меня в суть проблемы. — Он не менялся у нас с 2008 года, и кажется, в 2011 и 2012-м тоже будет неизменен». «Сейчас даже штрафные квитанции не имеет смысла выписывать — все деньги идут федералам, нам даже процент никакой от поимки нарушителей не перепадает, — поддерживает Наталью Владимировну, свою супругу, старший госинспектор (начальник егерей) Алексей Сергеевич. — Зачем тогда штраф, если мы даже на его сумму не можем исправить ущерб, нанесенный лесу?» На вопрос, стоит ли искать дополнительные деньги в местном бюджете, Дюбановы отвечают: «Если местная, талицкая власть не понимает, зачем вообще эти национальные парки нужны, трудно говорить с ней о чем-то большем. Они (администрация) который раз пытаются обменять у нас ближайшие к Талице участки на другие, где-то вдалеке. На места, где уже все вырублено, где нам охранять уже нечего». Старейшие участки национального парка не использовались человеком более ста лет — солидный срок для нашего быстротечного потребительского времени, и лакомый кусок из стройных, крепких сосен принесет, конечно, больше



Земляника в парке



Нарушители. Справа стоит А. С. Дюбанов, но его почти не видно за деревьями



Солонец для копытных в Мохирёвском лесничестве парка. Сергей Николаевич Плотников — госинспектор участка



Парковський уазик на рейде. Ждет, пока егеря расчищают путь от поваленных деревьев



Наталья Владимировна Дюбанова радуется — собрала в гербарий новый вид растения

пользы в деле «развития Талицы» (по словам администрации), если будет вырублен, продан и вывезен. Благо везти недалеко — леса национального парка в черте города. «Вопреки своим обещаниям на вырубленном месте для горожан ничего не построят, в лучшем случае богатым коттеджи распродадут — денег на развитие провинциального города в России нет», — подчеркивает Вера Борисовна Вахрушева, научный сотрудник парка, метеоролог. Как и на развитие и реальное функционирование системы особо охраняемых природных территорий, добавляю я от себя. Деньги на сохранение леса от пожаров, вырубок и бюрократии не доходят до места назначения, что равносильно тому, что их нет. Зато есть национальные проекты, например «Здоровье»: вместо пяти бумажек у врача заполняют десять. Я предлагаю создать национальный проект «Русский лес», вторя классику. Только «проектом» его называть не хочется — лучше «движением». Чтобы «Русский лес» не формально существовал на бумаге, а объединял всех неравнодушных, воодушевлял, а правительство поддерживало бы материально. Чтобы работники заповедников, парков и лесничеств гордо заявляли: «Мы — нужные,

о нас помнят и нам помогают». И строили бы амбициозные, смелые планы по развитию и улучшению лесных территорий, привлекали бы и обучали своему мастерству детей.

Сейчас «Припышминские Боры» имеют судьбу едва ли не более печальную, на мой взгляд, чем «Денежкин камень». Организовались они недавно, всего семнадцать лет назад, территория парка состоит из двух участков — Талицкой и Тугулымской дач площадью двадцать семь и двадцать две тысячи гектаров соответственно. Удалены они друг от друга примерно на сто километров. На этой территории сейчас работают одиннадцать егерей, для ежедневного рейда по территории обеих дач у них два уазика и предписание немного сэкономить бензин. По научной части в «Припышминских Борах» раньше было два отдела — научный и экопросвещения, каждый насчитывал по десять сотрудников. Со временем два отдела объединили в один с громоздким названием, выделили ему... всего четыре ставки научного сотрудника, бюджет почти трехлетней давности без всяких надежд на расширение и карьерный рост. После шести летних локальных возгораний на тер-



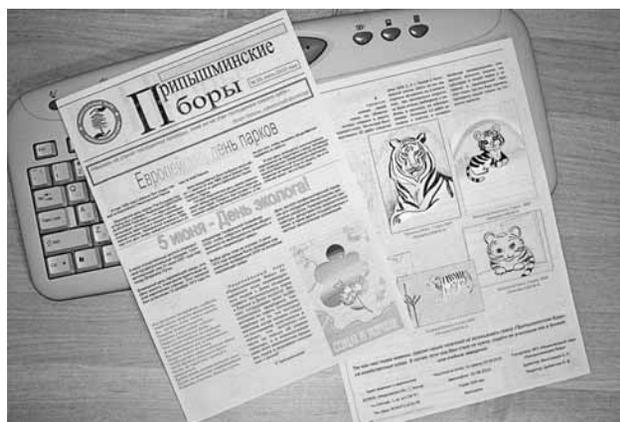
Старший госинспектор Алексей Сергеевич Дюбанов

ритории парка Наталья Владимировна надеялась, что штат «Боров» расширят хотя бы за счет егерей. Но вернувшийся из отпуска директор ошарашил всех заявлением о том, что «слишком много начальников развелось и пора соединять и уплотнять отделы». Теперь многие сотрудники находятся в «очереди» на увольнение, и их судьба полностью в руках директора. «Я ведь могу просто должность убрать, сократить — и необходимость в сотруднике отпадет, — цитирует директора Наталья Владимировна и продолжает сокрушаться: — Куда уж больше нас сокращать, и так работаем за десятерых. При этом наша семья с двумя детьми, например, — малоимущая, хотя и я, и муж в парке начальники — научного отдела и госинспекторов соответственно. Мне часто предлагали уйти учителем биологии в талицкую школу. Но я не решаюсь — все-таки пятнадцать лет в «Борах» работаю, не могу бросить лес...»

Да, трудно бросить этот лес, в котором уже с первых минут пребывания захватывает дух. Под напором каждого порыва ветра сосны гнутся и стонут, стучат друг о друга стволы. Этот звук напоминает стук бамбуковых палок — вот как и в наших широтах можно уловить экзотику. Ветер, сильный ветер, свободный лес! Вольная судьба!

Национальный парк нравится и детям. Талицких школьников водят своими малыми силами по экологическим тропам, в крохотный, но так любовно и сердечно обставленный музей природы. В нем над входом вырезаны по дереву слова Толстого: «Счастье — это быть с природой, видеть ее, говорить с ней». И как подтверждение этих слов в книге отзывов я читаю восторженные детские отклики разных лет. «Это чудо!» — пишут они. Научный отдел парка проводит также экскурсии для учителей биологии, для приезжающих туристов, своими силами выпускает газету «НП «Припышминские Боры»». Газета красочная и интересная, с юмором, рисунками детей и фотографиями. «Как распространяем? — говорят. — Отдаем в школы, библиотеку, дарим посетителям нашего музея». Все сами, своими руками, четыре странички, и на последней написано: «Так как наш тираж невелик, просим читателей не использовать газету «Припышминские Боры» на хозяйственные нужды. В случае, если она вам стала не нужна, отдайте ее знакомым или в ближайшее учебное заведение». Так как наш тираж невелик... Но какую великую задачу взвалили на себя эти четыре цветные странички.

«Расширение штата, зарплаты, наука?.. Земля, лес! — скажут в любой администрации чиновники. — Да что вы со своим парком носитесь, со своим заповедником? Биология? Финансирование? Да вы откуда слова такие знаете? Умерьте свой пыл!» Под яростным нежеланием государства обратить внимание на стабильную нищету особо охраняемых природных территорий, думаю, скрываются именно такие монологи. Но лишь проведя время среди сотрудников ООПТ, пожив, поездив, покарабкавшись, попотев с ними хотя бы неделю, понимаешь, как непросто простым работающим, честным, совсем неамбициозным людям жить и ощущать себя помехой, болезненной занозой в бюрократической, отчетно-благополучной машине. Помехой, которая



Газета «НП «Припышминские Боры»»



Территория «Холзана»

с превеликим трудом, но все-таки не позволяет ненасытным смолоть природную красоту в жерновах торговли и наживы.

Возможно, что заповедники и парки плохо финансируются потому, что бюджетная сфера в нашей стране всегда обделена деньгами? Может быть, если бы существовало больше частных охранных природных зон, проблема истощения окружающей среды могла бы быть решена? Что ж, сказала я себе, не могу судить, пока не посмотрю своими глазами, — и направила свои стопы совсем не в заповедник и не в национальный парк, а во внебюджетную контору — в Центр мониторинга и реабилитации хищных птиц «Холзан». Он находится в небольшой деревне Кашино под Екатеринбургом. Находится в лесу, сразу и не отыщешь. Никаких ярких вывесок, амбициозных заявлений и помпезной рекламы. Маленький питомник, один из пяти существующих в стране. Единственный из них, который *разводит* редких хищных птиц и выпускает их на волю. «Холзан» создал и по сей день возглавляет Олег Анатольевич Светлицкий, биолог не по образованию, но в душе. Олег Анатольевич всю жизнь занимается лечением и реабилитацией раненых хищных птиц — сначала питомцы жили в офисе его фирмы прямо в Екатеринбурге. Однако



Самка беркута по имени Магаданка. Фото Алексея Старкова, каф. ихтиологии и гидробиологии СПбГУ

со временем места для них стало недостаточно, и незрела необходимость аренды земли за городом. Так на территории современного «Холзана» возникли первые крохотные помещения для содержания птиц. Со временем, к 2004 году, под надзором Олега Анатольевича и его соратника Алексея Бахтерева для птиц были отстроены просторные вольеры: каждой паре свой для размножения. А еще два больших, общих, так называемых облеточных вольера — по пятнадцать-шестнадцать метров в диаметре — для



Пара филинов. На переднем плане самец с левым заплывшим глазом. Он оберегает свою самочку и каждую весну настойчиво ухаживает за ней и строит гнездо



Орлан-белохвост

молодых птиц. С первых питомцев и по сей день цель и жизнь «Холзана» — спасение травмированных, часто редких хищных птиц, а также их разведение. Сейчас в питомнике тридцать пять вольеров, в которых содержится около ста пернатых хищников. Это такие виды дневных хищных птиц, как сокола (пустельга, балобан, сапсан), орлы (степной, могильник, беркут), орлан-белохвост, коршун, канюк, полевой лунь, ястреб-тетеревятник, а также несколько видов сов — филин, неясыти бородатая и длиннохвостая, ушастая и болотная совы. Истории о том, как некоторые птицы попадали в питомник, иногда больше похожи на

легенды, а сложность операций, которые ветеринары делали для спасения раненых птиц, вызывает безмерное уважение к врачебному мастерству. Жестокость людей, нанеших животным ужасные раны, порождает не меньшие чувства, повергая порой в шок и ярость... Так, для спасения самца филина, который был ранен дробью, потребовалось четыре операции. В том числе птице вставляли металлические пластины для правильного сращения костей ног и крыла. Дробь задела и левый глаз, который, несмотря на извлечение дробинок и проведение курса капель, спасти не удалось.

Если вы приедете на экскурсию в «Холзан», сотрудники заповедника обратят ваше внимание на такое количество видов человеческой деятельности, наносящих вред птицам, что вы поразитесь взаимосвязи всего в природе. Будут упомянуты классическая охота на диких птиц, аспекты архитектурной планировки высотных зданий, а также бюрократические войны при выпуске молодых птиц на волю. Вам расскажут о том, что и у птиц бывают тяжелые душевные травмы, от которых порой не излечишь.



Магаданка ест тушку цыпленка

«Это у нас пара степняков, степных орлов, они с раннего детства выросли у людей. Поэтому они тоже считают себя людьми. Эти птицы — так называемые импринты, т. е. животные, у которых в сознании отпечатались «людская сущность». Весной самец токует на женщин, самка — на мужчин, и орлы никогда не смогут образовать пару и размножиться, потому что не видят друг в друге партнеров», — поясняет старший научный сотрудник «Холзана» Руслан Салимов. Но это уже начало экскурсии по чудесному питомнику, и рассказ вам лучше услышать не из моих уст. Надо заметить, что эти самые экскурсии в «Холзан» стоят недешево, что объясняется самокупаемостью питомника. Пока содержать центр только за счет экскурсий не удастся, и «Холзан» существует благодаря трепетной заботе и существенным вложениям Олега Анатольевича. Его птицы не нужны зоопаркам — у них слишком не «товарный» вид, нет ветеринарных справок. Растущий молодняк и поступающие раненые птицы трудны в содержании — слишком много едят мяса (причем исключительно свежего, иначе они погибнут), требуют лечения и ухода. Но эти хищники очень нужны природе, где они исчезают «благодаря» человеку, его варварству, жестокости. И они нужны нам, равнодушным, — как образец красоты и гордости, надежды и восхищения, пример гордого и прекрасного полета.

Не могла я предположить, что обязательная летняя практика обернется для меня открытием, познанием совершенно другого мира. Нашей стране так нужны преданные делу люди — и нужна молодежь, смена, которая будет воспитана в том же духе, с тем же стойким и твердым характером. Нужны люди, трудящиеся кропотливо, аскетически, без лозунгов и заявлений, потому что результат их работы — вот он. Здесь и сейчас. Лес, вода, звери, небо. Об этих людях мало говорят и пишут, не снимают фильмов, их почти не поощряют, порой травят и выгоняют из кабинетов, или о них вообще забывают! С этими людьми мне посчастливилось встретиться и пообщаться. Поучиться у них добросовестности, порядочности и преданности своей нехитрой работе, и благодаря этому задуматься о своем пути. И никто, ни в какой столице мира меня не убедит, что нынче в моде (необходима, востребована — как хотите!) амбициозная молодежь. Необходимы вы — пожарные, лесничие, егеря, добровольные дружинники-охранники и исследователи природных объектов, равнодушные и просто честные директора заповедников и парков. Спасибо вам за ваш труд! Да, слова банальные, но и их вы слышите, наверное, только в День работников лесного хозяйства. А я призываю говорить их каждый день, снимать о вас фильмы и писать в газетах. Еще я призываю изменить ситуа-



У меня на руках птенец орла-могильника. Фото Руслана Салимова, ст. н. с. «Холзана»

цию с финансированием ООПТ, быть внимательными к назначению директоров. Проверять, реально ли доходят деньги до егерей и научных сотрудников или же только в бухгалтерских отчетах. Иными словами, пою славу неамбициозным и объявляю национальное движение «Русский лес». Правительство, присоединяйся.

Вернувшись в сентябре на учебу, я узнала, что мне не оплатят дорогу по маршруту летней практики. Моя кафедра не организывает общую практику своих студентов, а на частные в университете денег стараются давать как можно меньше. И не важно, сколько опыта и знаний мы, студенты-биологи, универсанты, приобретаем во время полевых выездов. Намного выгоднее, чтобы мы сидели в Петербурге и не претендовали на университетские деньги — выходит, они вовсе не для нас. Боюсь, скоро на смену стражам природы идти будет некому.

Уважаемые читатели! Автор будет рад увидеть ваши письма с отзывами, пожеланиями и комментариями на своей электронной почте silver_elf@list.ru.

г. Санкт-Петербург



Анна МАРКИНА



Анна Маркина родилась в 1989 году в Москве. Училась на факультете информатики и радиоэлектроники одного из московских вузов. Сейчас студентка Литературного института им. А. М. Горького. Публиковалась в сборниках «Время любить», «Вдохновение», «Серебряный стрелец», альманахе «Илья-премия» и др.

Когда наступает *поэзия*, непонятно совсем. Вот живет у тебя за стенкой сосед-алкоголик, и нет в нем не то что поэзии, но даже и особой культуры. А тут он приносит тебе вдруг тюльпаны, совершенно точно уворованные с определенной, известной тебе клумбы, и появляется в твоём утре какая-то живинка и поэзия. Или приходишь ты в книжный магазин, берешь прозу Пастернака и думаешь — поэзия. А в

отделе поэзии листаешь один за другим сборники и понимаешь, что в них поэзии ровно столько же, сколько в соседе-алкоголике в нетюльпановые утра. Это чаще всего *непонятно*. И, наверное, как только уразумеешь, почему работает именно это слово, эта строка, это мгновение, почему отдается, откликается в тебе и завораживает, так сразу поэзия и рассыпается.

Анна Маркина

Белый Болло

За грядой малахитовых ёлок
в лапах снов притаился посёлок,
огорошенный лаем весёлым,
окаймлённый цветением яблонь.
Облака в нём морщятся зябло,
неуютно смущаются рябью
и ныряют в людские ладошки
греться.

Это место мерещится раем,
ослепительно скроенным краем,
защищённым туманом, ветрами
и собакой по прозвищу Болло.
Болло бел, безалаберен, болен,
но горяч — промышляет футболом
с диковатой толпой ребятишек
часто.

Был когда-то давно сенбернардом...
Но сегодня неряшлив и стар он,
да к тому же чертовски устал он.
Вот его принадлежность к породе
и потеряна где-то в народе,
череду выпирающих ребер,
да не чёсанной сроду шерсти.

Болло
был спасателем, умным и славным:
он в горах, словно рыба, — хоть плавай,
он стремительней огненной лавы,
Болло мощен!.. уверенно, львино...
Но однажды он схватку с лавиной
проиграл. После долго не видел,
а потом в стране снов оказался
вечных.

Там шатается, мягок и ласков,
сторожит новый мир, полный сказок...
Закрывая уставшие глазки,
загадай обрести этот город,
потрепать благодушную морду
величавого старого Болло.
И получишь частичку белого
счастья.

Море

Казалось, мир стал морем полосатым.
И за спиной, волнами опрокинут,
дом дрейфовал... лоснился, как касатка,
и грел на солнце каменную спину.

Мы были во дворе. И море горько,
вздыхало... и смыкалось, как гардины.
А мы спасались на железной горке,
плывущей в неизбежность, словно льдина.

Но из кита выглядывала мама,
звала обедать.
Ели.
Ты смотрел, как
лавровый лист, потерянный в тумане,
скитался... по наполненной тарелке.

Илюша

Весна. Округа смазана, размалёвана
поджаро-солнечным, облачно-голубым.
Илюша томно смотрит в ладонь холёную,
считает в ней зарубки своей судьбы.



Илюше восемь. Жара с ним, как ветер с вымпелом, —
клюёт, терзает смутный его покой;
а влагу, видно, боги два дня как выпили,
на всякий... чтоб не скисла, как молоко.

Топ-топ... через ступеньку... топ-топ.
На пятый. Сквозь прохладный подъезд.
И если не откроют дверь, то
жара Илью с потрохами съест.

За дверью шебуршит, неуклюже шаркает
коряво, обнадёженно. Что есть сил
на входе руки бабушки гадким шарфиком
сжимают, начинают его бесить.

Илюша злится, морщится. Кулачками —
легонько в грудь ей, фыркает: «Баба Галь!»
...Она привыкла: время такое — чокнуться!
Всем надо жить, прощаться и убегать.

В квартире пахнет как-то чудно, по-старчески:
компотом, пшённой кашей, прохладой, хной.
Секунды так грохочут, что ты и ста часов
не выделишь из ползущего за спиной.

Илюша деловито идёт на кухню и
пытливо ждёт положенных леденцов.
У бабки в голове упрямо ухаает:
«А угощать-то нечем...» В конце концов
Илья
уходит,
окрестив её подлецом.

Топ-топ... через недели... топ-топ.
Весна на этот раз тяжела.
И если бы открыли дверь, то...
но бабка пять лет как умерла.

Темно. Но тучи начинают чуть-чуть просвечивать.
Илья — студент. В Москве ему нелегко.
Он дома на каникулы — ищет вечного
и детских лет, сбжавших, как молоко.

Восемнадцать

В твоих губах обветренный привкус вишни. В ногах — готовность... в небо, в объятия, в бой. А в восемнадцать часто бываешь лишней, и не бываешь просто, совсем, собой. В твоих руках снежки и судьба галактик, в глазах — рассветы, юность, слепой восторг. А в восемнадцать можно от смеха плакать и рваться за пределы и на простор.

Поэты скажут, мол, непутевый возраст: намёки, книги, радости — об одном... И будто б жизнь тебя на каргашках возит, а ты на ней слепой, незащитный гном. А я люблю, что утра так неприятны, что декабрём скребётся в узор окна, что смысл жизни — у ног запрятан, найдёшь — он будет мил, абсолютен, наг. А я люблю безумно свои пятёрки, поспешных сессий нервный, кофейный вкус, и даже если радости кем-то стёрты, бывает, солнцем ветрено отвлекусь. Все эти ночи в рифмах, размерах, байках: любовь плюс город, осенью залитой... Когда ревёшь ты в плюшевый бок собаки и хочешь быть не этим, не тем, не той. Когда привычка — взять и забыть про чайник, когда на полке — библией Гришковец, когда живёшь так сладостно и случайно, и веришь злой, холодной к чужим Москве. Когда твой вуз — огромный потёртый домик, где можно жить, питаться, любить и спать. И можно быть до дьявола неудобной для взрослых... и взволнованных мам и пап. Когда в подкладке кем-то зашита мелочь, в тетрадах, аськах — скобочки. Позитив. И повзрослеть немножечко не сумела, как не сумела, в общем-то, подрасти.

А в восемнадцать можно не верить в Бога, судьбу, добро... А только одной себе. Где нет тебя — там мир донельзя убогий, где нет тебя — там в мире нажат пробел. А в восемнадцать славно считать овец, а в восемнадцать можно залечь на дно... Любить всех-всех, но быть одинокой вечно и так дрожать при мысли побыть одной. А в восемнадцать стелешь людей под ноги, чтоб возносить их пачками на олимп. А восемнадцать, верь мне, даны не многим, и пережить их многие не смогли.



Имя: Суворинов Олег Олегович
Дата рождения: 16 апреля 1985 года
Место рождения: г. Липецк

Занятия

Я работал и менеджером, и журналистом, и помощником юриста. Сейчас учусь на четвертом курсе юридического факультета Липецкого филиала Московской гуманитарно-технической академии. Постоянный участник проходящих в Липецкой области конференций и круглых столов, посвященных актуальным проблемам юриспруденции и развитию права. Часто встречаюсь со школьниками в рамках декады правовых знаний. На подобных встречах студенты нашего вуза совместно с прокуратурой рассказывают подрастающему поколению о его правах и обязанностях, о том, что такое закон, повышая правовую грамотность.

О том, как начал писать

Эрнест Хемингуэй говорил: «Чтобы стать писателем, нужно иметь несчастное детство». Мои детские годы

Становление писателя — таинство особое. Ведь творец мира слов требует тихого уединения, долгой дороги, ярких пейзажей, бойких ритмов, внимательного чтения. А еще неповторимых судеб и диалектов у собеседников...

Пастернак утверждал, что главное для писателя — это вид из окна. Маяковский признавался, что путешествия заменяют ему чтение книг. Вознесенский замечал, что пишет ногами, отмеряя километры по знаменитому переделкинскому полю...

Сегодня очень важно молодому автору не забывать об этом.

Литературное творчество — процесс длиною в жизнь. Хорошее начало — полдела!

Особое содружество «писатель — редактор», публикация в журнале, общение с читателем и... снова уединение. Такой вот круговорот литератора в природе.

Наша почта — это океан неожиданного, бескрайнего, манящего. На ваш суд мы выносим рассказы молодого писателя из Липецка и его размышления о творческом поиске.

были полны разнообразных ярких впечатлений. Они просто переполняли меня — и в один прекрасный момент начали складываться в художественные образы. Первый рассказ написал в одиннадцать лет, он до сих пор хранится в нашем семейном архиве. Речь в нем шла о школьниках, собиравшихся в кругосветное путешествие. Потом было еще несколько несохранившихся сочинений. В пятнадцать лет начал писать стихи, но проза всегда увлекала меня больше, чем поэзия. После создания первых глав моего дебютного романа (2007 г.) «Петербург-Ад-Петербург» лирика ушла на второй план. Тогда я понял, что в прозе смогу донести до читателя свои мысли убедительнее, чем в стихах. А к тому моменту, когда я закончил (2010 г.) второй роман, «Улицу Туманов», сомнений не осталось никаких.

Кого читаю и литературные учителя
 Прямых учителей в литературе у меня нет. Все мое ученичество — это заочное обучение у мастеров прошлых лет. Влияние их велико. Не упомянуть

среди прочих имя Ф. М. Достоевского было бы с моей стороны несправедливо, поскольку он в той или иной степени повлиял на каждого из писателей XX и XXI веков.

Каждый молодой автор старается нащупать в литературе свою тему — ту, которая ему ближе всего. Сегодня меня волнует внутренняя сущность человека, его борьба с внутренними врагами. В этом смысле в числе учителей назову Франца Кафку, хотя все его герои ведут бессмысленную борьбу с абсурдной действительностью. Не могу обойти вниманием и двух величайших французских писателей XX века — Ж.-П. Сартра и Альбера Камю. Велико влияние на мое творчество Х. Л. Борхеса, Э. По, А. Битова, В. Набокова, Д. Джойса. Особо хочу отметить выдающегося ирландского писателя Сэмюэля Беккета. С того самого момента, когда я впервые прочитал его романы и пьесы, мое понимание литературы коренным образом изменилось. Беккет перевернул привычное представление о прозе. Это касается и формы литературного произведения, и его содержания.

Уверен, что опыт писателей прошлого является благодатной почвой для развития и становления современных самобытных авторов.

Наверное, не существует темы, которая не была бы раскрыта в мировой литературе. Кажется, что обо всем уже сказано. Темы произведений могут быть похожи, но я верю в то, что важнее всего — угол зрения, под которым автор смотрит на проблему. Именно поэтому литература всегда нова и свежа. Время меняет угол зрения, поэтому даже самая распространенная в литерату-

ре тема может звучать по-новому: остро, живо, актуально.

Стремления

По моему субъективному мнению, писательство — это мономания, а писатели — несчастные люди, потому что воспринимают жизнь исключительно как материал для художественного творчества. Раз начав писать, уже не имеешь возможности остановиться. Как сказал биограф Ф. Кафки Клод Давид, «литература — опасная забава». И после того как человек смог это осознать, он начинает стремиться к тому, чтобы,

занимаясь литературой, быть максимально полезным обществу. Я хочу, чтобы мои произведения давали возможность читателю видеть мир иначе, думать о нем иначе, способствовали развитию личности. Ведь если искусство будет на это не способно, то велика вероятность того, что мы превратимся в дикарей в высокотехнологичном мире.

Публикации в периодике

Литературно-художественный журнал «Три желания»: рассказы «Тысяча слов о Любви» и «Осень человеческой жизни» (2010).

РАССКАЗЫ

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ЧУВСТВА

*Лучше смело перейти в иной мир
на гребне какой-нибудь страсти,
чем увядать и жалко тускнеть с годами.*

Джеймс Джойс, «Мертвые»

За окном медленно падают хлопья снега, которые от света уличных фонарей переливаются оранжевыми блестками, будто искры бенгальского огня, отраженные в золотистом бокале шампанского. В такие моменты на улице особенно тихо. Зима заметает замерзшую землю вместе с ее жителями. Брошенные в вечерней мути праздничные вывески скучно перемаргиваются друг с другом. До них уже нет никому дела. Тот, кто бережно включил их, растворился в приятных хлопотах в запотевшем окне своей уютной квартиры. Для иных одинокие вывески — единственное утешение среди стужи и унылых снежинок в оранжево-белом городе в канун Нового года. Кто-то, кто голоден и одинок, хотел бы сейчас перебирать старые елочные игрушки и снисходительно улыбнуться маленькому стеклянному зайцу с отколотым ухом. В такие минуты начинаешь ценить самое малое, то, что многие люди считают обыденным...

Белокурый мальчик лет шести стоит на табулете и сквозь стекла своих очков отрешенно смотрит близорукими глазами в мерцающую, отливающую золотом мглу за окном. Одинокое серое пальто медленно прошло, утопая в снегу. За десять минут мальчик насчитал только три машины, проехавшие по коричневой дороге. За его спиной уже накрытый праздничный стол с множеством различных блюд и закусок. Из телевизора слышно чье-то тихое тягучее пение.

— Папа, ну что он все стоит у окна? Мы так никогда не нарядим елку!

Мальчик не ответил старшей сестре, продолжая всматриваться в седое лицо зимы и окна домов на противоположной стороне.

— Бездельник! — резко сказала сестра. — Осталось три часа до Нового года!

— Я маму жду, — тихо ответил мальчик и прислонился лбом к холодному стеклу.



— Папа, ну скажи ему, что если так стоять, то мы не успеем к приходу мамы. Пусть он хотя бы вату расстелет под елкой. Остальное я сама сделаю.

Мальчик подумал, что в этот раз у них слишком маленькая елка. В прошлом году была огромная, так что отцу пришлось ее подпиливать. И вообще, как мама пошла на новую работу, все резко изменилось. Раньше они чаще виделись, подолгу вместе играли, а теперь она даже ночью не всегда бывала дома. «Что можно делать ночью на работе?» — иногда спрашивал себя мальчик, лежа на втором ярусе кровати и разглядывая тень от дерева на потолке.

— Давай, малыш, помоги сестре, — как-то особенно нежно сказал отец. Мальчик решил, что самое время спросить про Деда Мороза.

— Папа, — спросил он, повернувшись спиной к окну, — а в этот раз Дед Мороз придет и принесет мне подарки?

Сестра хихикнула и ушла в коридор. Отец незаметно погрозил ей пальцем, когда она выглянула из-за угла.

— Конечно, — ответил отец. — Но только тогда, когда ты будешь спать. Он незаметно зайдет к нам в квартиру и положит подарки под елку.

— А что, он и к Андрейке в пятую квартиру придет?

— Ну конечно. Он подарит подарки всем детям.

— А почему тогда Лена говорит, что Деда Мороза нет? — чуть не плача спросил мальчик. — Это потому, что она в пятый класс пошла?

Он снял маленькие очки, почти как взрослый, и потер глаза.

— Я хочу, чтобы Дед Мороз пришел! — сквозь слезы сказал мальчик. Потом отчего-то добавил: — Не нужно мне вашего Нового года без него.

Отец подошел к нему и усадил себе на руки так, что мальчик смог обхватить отца ногами.

— Я говорил тебе, что плачут только девочки?

— Да, — сквозь хлюпанье ответил тот.

— Я говорил тебе, что мужчины никогда не плачут?

— Да, папа. Я больше не стану... А когда мама придет?

Отец посмотрел в окно, потом поцеловал сына в лоб и, улыбаясь, сказал:

— Уже через час, малыш. Уже через час...

Сестра внесла старенькую коробку с елочными игрушками и поставила на табурет. Все трое принялись наряжать маленькую елку.

* * *

На другом конце города, в маленькой квартире на седьмом этаже, тоже готовятся к празднику. Девочка очищает вареный картофель от шкурки и подает

его матери, а та измельчает его в любимый мужем салат.

Уютная кухня ярко освещена. Из соседней квартиры слышны радостные крики празднующей молодежи.

— Мама, — спросила девочка, — а когда ты первый раз влюбилась?

— В девятом классе, — улыбнулась мать. — Хотя я точно не помню.

— А я вот, кажется, влюбилась в одного мальчика из десятого класса. Это ведь ничего. Пусть я в восьмом. Это же всего два года разница.

— А как его зовут? — спросила женщина, перемешивая салат.

— Секрет, — таинственно сказала девочка. Потом добавила: — Мама, а любовь — вечна?

— Наверное, — вздохнула мать.

— А вот ты, например, так же любишь папу, как и пять лет назад?

— Знаешь, дочь, это так сложно объяснить, но любовь перерастает во что-то большее... М-м-м, даже не знаю, как это сказать точно...

— Разве есть что-то большее, чем любовь? — удивилась девочка.

— Ты поймешь меня, золото, когда станешь взрослее.

— А скоро папа придет? Уже ведь девять часов.

— Думаю, в десять будет дома. Мы как раз успеем стол накрыть. Остался один салат. Его любимый, — улыбнулась женщина.

— А можно, я скажу ему, что это я сама, без твоей помощи для него приготовила салат?

— Конечно, дочь. Это будет наш маленький секрет, — подмигнула женщина.

— Наш папа самый лучший, — сказала девочка. — Я его очень люблю. Тот парень из десятого класса чем-то на него похож. Только вот не знаю чем, — засмеялась она.

Девочка подошла к маме и поцеловала ее. «Я самая счастливая», — подумала женщина в этот момент.

* * *

В пустынном зимнем парке, где ветви деревьев прогнулись под гнетом снега, по аллее идет мужчина. Над ним от фонаря к фонарю тянутся гирлянды из разноцветных лампочек. Снег хрустит под ногами, сминаясь в безымянный след. Снежинки кружатся вокруг него, приликая к пальто и шапке. Парк провинциального города безлюден и пуст в канун Нового года. После рабочего дня мужчина решил прогуляться по вечернему городу. Что-то щемило сердце, необъяснимая тяжесть и тоска сминали его в морозной предновогодней тишине в окружении угрюмых накупившихся вековых дубов.

Проходя мимо ряда скамеек, мужчина кинул взгляд на женщину в сером длинном пуховике и серой же вязаной шапочке. Эта женщина, очертания ее в темноте, манера сидеть полубоком, опираясь на левую ногу, — все это еле уловимым эхом отдалось в его памяти. Звук рвался наружу из прошлых, давно минувших лет. Он подошел к женщине ближе и сказал:

— Извините, что потревожил вас, но вы мне напомнили девушку из моей юности. Вас случайно не Ира зовут?

Женщина подняла на него глаза и не отрывая взгляда ответила:

— Нет.

Скамейка находилась не под фонарем, поэтому лица ее он не мог хорошо разглядеть, но все же отдельные черты его были знакомы мужчине.

— Вы очень похожи на ту девушку из прошлого, Иру, — улыбнулся он и поймал перчатками несколько снежинок.

Женщина промолчала.

— Извините, — вдруг сказал он, — мне кажется, вам так же грустно, как и мне. Я, откровенно говоря, не очень люблю праздники.

— У вас что, нет семьи? — неожиданно спросила она.

— Нет. Я холост, — ответил он, явственно ощущая давно забытый холодок под сердцем.

— Я тоже одна, — вздохнув, проговорила она.

— В таком случае, — сказал мужчина, — разрешите мне немного посидеть с вами.

— Не стоит. Я уже собиралась уходить.

Женщина встала. Он смог лучше рассмотреть черты ее лица.

— Вы катастрофически похожи на Иру, — воодушевился мужчина. — Вы будто ее двойник. Вас точно не Ира зовут?

— Точно, — ответила женщина и отвернулась, собираясь уходить.

— Странно, — рассеянно сказал мужчина, — надо же быть так похожей на нее.

— Вы сильно любили ее? — резко спросила она.

— Я любил ее так, как никто никогда никого не любил на свете. Она была для меня всем, всей моей жизнью...

— А она любила вас? — перебила женщина.

— Кажется, нет. Но иногда бывали случаи, когда я думал, что любила. Не знаю, что с ней случилось, но она вышла замуж за другого человека. Временами я думаю, что она была сумасбродной, способной на все... Она изменила мне, после чего забеременела и вышла замуж за того, другого. Быть может, она сейчас пожалела о своем опрометчивом поступке. Я не знаю...

Женщина слушала не поворачиваясь. Его немного раздражал диалог со спиной.

— Знаете, она вас очень любила, — сказала она вполголоса и пошла прочь.

Мужчина не расслышал ее слов. Он хотел было ее окликнуть, но не решился.

Женщина шагала сквозь снег с застывшими на морозе слезами. Она только что солгала ему. Дома ее ждут двое детей и муж. Ее маленький сынишка, наверное, проглядел все глаза в ожидании матери, стоя на табуретке возле окна. Малыш расстраивается из-за ее новой работы, сестры, не верящей в Деда Мороза, и новогодней елки, которая меньше, чем в прошлом году.

Мужчина еще долго стоял и думал о своей лжи, смотря ей вслед. Зачем он солгал ей только что? Ведь его дома ждут жена и прелестная дочь, которая влюбилась в парня из десятого класса, так похожего на ее отца.

ОСЕНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

*...И годы я стоял, безумный, у окна!
Любуясь солнцами, моя душа ослепла,
Лучи ее прожгли до глубины, до дна,
И все мои мечты распались горстью пепла.*

*О, если б все забыть, быть вольным, одиноким,
В торжественной тиши раскинутых полей,
Идти своим путем, бесцельным и широким,
Без будущих и прошлых дней.*

*Срывать цветы, мгновенные, как маки,
Вливать лучи, как первую любовь,
Упасть, и умереть, и утонуть во мраке,
Без горькой радости воскреснуть вновь и вновь!*

Валерий Брюсов, L'enn'ui de vivre



В те дни, когда я работаю за письменным столом, на меня с фотографии в рамке смотрит усталыми близорукими глазами дед. Прежде чем начать писать, я непременно несколько минут вглядываюсь в портрет и вспоминаю этого самого близкого мне человека. Если бы не он, я, вероятно, не начал бы сочинять рассказы. Он научил меня видеть мир по-иному, замечать в его очаровательной прелести все оттенки и цвета, которые сразу и не разглядишь. Это удивительное сочетание красок в природе вдохновило меня на всю жизнь.

Дед был художником. Он писал пейзажи. Наверное, не встретить второго такого человека, который способен был разглядеть столько поэзии в одних только арабесках на асфальте, рисуемых ветвями деревьев в летний ветреный день. Дед часами, сидя в инвалидной коляске под сенью развесистого дуба, мог разговаривать об этой игре света и тени, с сожалением говоря о том, что уловить все эти переливы художнику не под силу.

Я возил его в коляске по тенистым аллеям парка, где он, поднимая голову, наслаждался искрящимся солнцем, которое переливалось и прыгало в пышной зеленой кроне. Его восторгу не было предела. Порою он начинал водить артритной рукой по воздуху, воображая, будто пишет картину. Какая музыка звучала у него в голове в тот момент, одному Богу известно! Так мы гуляли часами, успевая переговорить обо всем на свете. С ним я узнал, что туман не серого цвета, а — с багровым оттенком. Дед признавался, что раньше, в юности, не замечал этого. Только много позже картина Моне «Лондонский туман», изображавшая Вестминстерское аббатство, открыла ему глаза. «И действительно, — говорил он, — я тоже видел подобный багровый туман». Благодаря деду я начал присматриваться к окружающему нас миру. Он поистине богаче красками, чем может показаться.

Не описать словами, какие чувства вызывало у деда приближение урагана. В те минуты он мог перечислять тысячи оттенков, которыми окрашивалось небо. Вообще, в молодости он был безудержным и горячим человеком. Дед мог бросить все, взять с собой подготовленные холсты, краски и уехать писать пейзажи средней полосы России или Кавказа. Удержать его было невозможно. Моя бабушка рассказывала мне, что хотела даже развестись с ним из-за этого.

Она пыталась уходить от него, но через три дня возвращалась, и они, обнявшись, могли часами сидеть и плакать, признаваясь друг другу в любви. Оба они любили трепетно и нежно. Когда бабушка умерла, дед перепачкал все белые холсты темно-фиолетовой краской и больше не писал. Днями напролет

сидел он возле окна в своем кресле, накрытый пледом, и смотрел, как опадают листья, как они медленно опускаются на землю, чтобы никогда уже не зазеленеть вновь. В жизни любого человека рано или поздно наступит тихая осень...

В октябре или в начале ноября мы часто ездили с ним в наш деревенский дом, который был дедовой мастерской. Я вывозил его на террасу, и он часами слушал звуки нудного дождя. Его успокаивал этот нежный шелест. Иногда он просил принести ему портрет бабушки. На самом деле их было несколько, но существовал все же его любимый. Он был одним из первых. На нем бабушка в легком ситцевом платье, с поразительной нежной улыбкой и грустными антрацитовыми глазами. Дед брал портрет в дрожащие руки, подносил его к почти ослепшим глазам и тихо плакал под ласковый шорох холодного осеннего дождя. Некоторое время спустя дед совсем ослеп и уже не мог видеть бабушку на портрете, но все же просил меня принести ему его, чтобы он мог руками потрогать ее «лицо», которое уже давно истлело.

Картин в деревенском доме было колоссальное количество. Если бы вся Россия вдруг исчезла, то по ним легко ее можно было бы восстановить, как по «Улиссу» Джойса — Дублин. Они и сейчас там, но я не приезжал в деревню уже очень давно. Холсты, наверное, все запылились и лежат никому не нужными грудками во всех уголках дома в его мертвой тишине. Мне кажется, он скучает по своим хозяевам, которых уже нет.

В последние дни жизни дед очень интересовался моими литературными успехами. Я охотно читал ему свои рассказы. Он нежно брал мою руку в свою, покачивал головой и беззвучно плакал от счастья.

Умер он поздней осенью, в ноябре, когда по переулкам уже гулял пронизывающий колючий ветер зимы. На похоронах были только я и мама. Помню, я заметил на дереве, над свежей могилой деда, двух птиц. Мама нежно улыбнулась и сквозь тихие слезы сказала, что это дед с бабушкой встретились вновь и теперь навсегда.

Мы пошли с кладбища пешком. Ветер утих, и все вокруг наполнялось волшебной голубой тишиной прошедшей дедовой жизни. Все, что было в ней, он отдал бабушке и полотнам, которые теперь лежали в пустом доме с остановившимися часами на окраине села.

Кресло и коляску я отнес в гараж и забыл о них навсегда. Только старый потрепанный дедов плед и по сей день согревает меня бесконечными осенними вечерами, когда я пишу свои маленькие рассказы, которые, может быть, кто-нибудь когда-то прочтет. По крайней мере, дед в это искренне верил.

КРАСНЫЕ ЯБЛОКИ

Памяти Х. Л. Борхеса

Женщина принесла домой небольшую корзину красных яблок и, поставив ее на грубый стол, решила вздремнуть после бесконечной дороги и особенно жаркого июльского дня. Она вытянулась на скрипучей кровати, каждая пружина которой издала протяжный гудящий звук. Когда все стихло и было слышно только лишь чириканье неведомой птицы из окна, распахнутого настежь в голубое лето 1967 года, женщина заснула.

Проснулась она согбенным пражским стариком, сидящим в одном из райских дворики в центре города. Он полуоткрытыми глазами смотрит на окна, отражающие солнечный свет. Еле заметное движение облаков в квадрате неба над двориком действует на старика усыпляюще. Он уже битый час сражается со сном, но все напрасно. В тишине двора, вдали от шумных туристов приятно чувствовать в теле сонное томление. Он еще немного посмотрел на небо и задремал.

Проснулся он двухмесячным малышом в Самаре, которого пеленает молодая мать. Она смотрит в его маленькие голубые глазки и улыбается, но он ничего еще не смыслит, а просто обсасывает свой палец беззубым ртом. Материнское молоко — это единственное, что ему доводилось пробовать за два месяца своей жизни. Теплый сосок отвлек его от тревог внешнего мира, и теперь, когда он закутан в пеленки, ему хочется спать. Он уже спит.

Просыпается он американским солдатом. Солдат цел и невредим. Он сражается во Вьетнаме, сам не ведая во имя чего. Ему душно в чужой, враждебной стране. Он лежит в большой брезентовой палатке, рассчитанной на несколько десятков человек. Кто-то курит в темноте, а иные уже всю храпят. Солдат пытается заснуть, вспоминая свой родной штат, ребят из баскетбольной команды, мать. Ему немного грустно от того, что он не успел жениться перед войной. Быть может, тогда ему легче было бы переносить весь этот кошмар. Зная, что дома любящее сердце ждет тебя, — воевать легче. «Хорошо бы иметь детей, — думает солдат. — Мальчика и девочку или...» Он проваливается в пустоту, поглощенный своими мыслями, и засыпает.

Просыпается он девочкой, идущей из школы в далеком будущем. Она устала от не поддающихся

ей предметов — алгебры и геометрии. Учительница была неосторожна в выражениях и позволила себе оскорбить ее. Конечно, это было не бранное слово, но оно смогло задеть нежное юное существо. Девочка зашла домой и, бросив сокрушенный взгляд на маму, прошла к себе. Мама, естественно, заволновалась, но не решилась все же войти к дочери, а только спросила через дверь: «Милая, у тебя все хорошо?» — «Да, мама, просто я хочу поспать», — ответила девочка и отвернулась к стенке. Через пять минут она согрелась и заснула.

Проснулась она мужчиной, на неверных ногах идущим по темному переулку в Венеции. Он идет в гостиницу. Девушка, сидящая в холле за столиком в дешевом отеле, провожает его сонными глазами. Он ни на кого не смотрит. В номере он, не раздевшись, лег в кровать и заплакал. «Она больше не любит меня, — прошептал он в пустоту. — Что я без нее?» Мужчина долго смотрит на красную вывеску за окном. Алкоголь делает свое дело. Через минуту человек крепко спит, забыв обо всем на свете.

Просыпается он мужчиной, идущим по пыльной дороге. Он только что видел, как ни в чем неповинного человека распяли на кресте вместе с двумя разбойниками. Его сердце сжимается от боли и рвется из груди. «Я напишу о нем всю правду, — говорит человек без злобы. — Пусть все знают, каким он был». Мужчина заходит в ветхую лачугу и ложится на жесткую подстилку. «Я напишу, дай мне только силы написать о тебе». «Я дам, — был голос. — А сейчас спи». Он покорился и через полчаса уже спал сном младенца.

Он проснулся немолодым человеком, который только что задул свечи. Было уже пять часов утра. Он, крайне утомленный, сидит на стуле и смотрит в темноту. «Ну вот и славно, — говорит он, — дело сделано». Ему нужно поспать — он и впрямь очень устал. Последняя работа вымотала его, оставила без сил. Мужчина встал и медленно прошел вглубь комнаты. Там, в уютном темном уголке, он улегся на диван с высокой спинкой и накрылся легкой простыней. Он крепко спал, когда первый луч солнца осветил сначала угол его рабочего стола, а потом и почти весь стол. Луч медленно скользит по поверхности к тому самому месту, где лежит толстенная стопка исписанной бумаги. Наконец он добрался



до первой строчки. За окном звонили к заутрене. Вверху листа было написано: «Преступление и наказание».

Проснулся мужчина старухой в суровом и страшном году. В сущности, она и не была старухой. Это война и темная декабрьская ночь так преобразили ее лицо. Женщина лежит на печке и слушает, как маятник отсчитывает секунды, уходящие в вечность. Ее голодные дети лежат рядом с ней на теплой печи и мирно спят. Писем от мужа не было уже более полугода. «Где он теперь? — спрашивает она себя. — Мерзнет, наверное, в окопе. Или...» Тут она представила мертвое лицо мужа, припорошенное снегом. Глаза его открыты... «Господи, — прошептала она, — сделай так, чтобы он был жив». Женщина осторожно, чтобы не разбудить детей, повернулась на бок и заснула под шорох метели за окном.

Проснулась она молодым человеком. Он, то есть я, полулежу на диване с раскрытым томом Сартра на коленях. У правой ноги сопит французский бульдог. Мне приятно быть дома темным осенним вечером. На часах половина первого. Глаза мои слипаются от долгого чтения. Я некоторое время думаю о Люсьене, выведенном Сартром в рассказе. Еще немного — и я усну. Погасив свет, я вытягиваюсь на диване и вспоминаю прошлую, задумчивую осень в деревне. Тогда я был счастлив, как, впрочем, и сейчас. Мое тело тяжелеет, мысли разлетаются, как вишневый цвет на ветру. Я засыпаю.

Я просыпаюсь женщиной, которая, протерев ото сна глаза, лежит на скрипучей кровати и смотрит на корзину красных яблок, стоящую на грубом столе. Из открытого настежь окна доносится щебет неведомой птицы, заливающейся пением от жаркого голубого дня летом 1967 года.

ТЫСЯЧА СЛОВ О ЛЮБВИ

Двое красивых еще молодых людей сидят в маленьком, до отказа заполненном людьми кафе и с виду тихо беседуют. Сидят они уже довольно давно.

Она взволнована. Ее растрепанные русые волосы уже не так уложены — не то, что было до прихода сюда. Помады на губах уже нет. Болезненный румянец на щеках совершенно не красит девушку: он делает ее лицо каким-то беззащитным. Взгляд ее похож на взгляд запуганной охотниками лани.

Он тоже не спокоен. Крупными затяжками курит сигарету и всматривается в ее глаза, которые смотрят на него с такой любовью. Мужчина худ, темно-рус. Его бледное лицо в эту минуту выражает и растерянность, и жалость, и боль, и скорбь одновременно.

— Сколько мы уже вместе? — спрашивает он.

— Десять лет, — тихо отвечает она. — Мы поженились, когда нам было по двадцать.

— Ты думаешь, что я все эти годы был честен с тобой?

— Я хочу думать, что это так. Но если я не права, ты все равно не рассказывай мне об этом. Я хочу знать всегда, что ты самый честный мужчина. Сделай так: не говори.

Он, немного подумав:

— Я с ней уже четыре года. Я все эти четыре года, черт возьми, обманывал тебя, тебя и нашу малышку! Я привел тебя сюда, чтобы сказать, что я больше

так не могу. Я больше не люблю тебя и не могу врать тебе. Я люблю ее...

На глазах появляются слезы, но она изо всех сил старается их удержать в себе:

— Ты продержал меня здесь три часа, промучил меня три часа, чтобы сказать это?

— Да, — хрипло отвечает он.

— Скажи мне, милый, ты любишь нашу дочь?

— Я люблю нашу дочь.

— А ты правда любишь другую женщину?

— Да. Я боролся... Я не хотел... Ради моей дочери я не хотел ничего рушить. Но я не смог справиться. Прости меня. — Он берет ее руку в свою.

— А я буду любить тебя вечно.

Он промолчал.

— А знаешь, — вдруг говорит она, — я счастлива, что ты теперь счастлив. Нет, это чистая правда. Я не лукавлю. Я всегда желала тебе счастья, вот и теперь желаю его тебе. Ты единственный, кого я люблю по настоящему, слышишь?

— Слышу, — тихо отвечает он.

— Можно мне просить тебя об одном одолжении?

— Конечно.

— Сделай так, чтобы мы больше никогда не встречались. А если ты вдруг увидишь меня на улице, ты не подходи ко мне и не здоровайся. Пообещай мне это. Обещаешь?



Рисунок Елизаветы Горячевой



— Да, но почему так?
 — Я хочу помнить и знать тебя своим. Я не хочу видеть и знать тебя чужим.
 — Хорошо, — соглашается он. — Я сделаю так, как ты просишь. А как же наша дочь?
 — Я скажу ей, что ты умер. Ей всего четыре, она привыкнет к этой мысли. Я буду рассказывать ей, что ее отец был самым умным, самым добрым и самым честным человеком на свете. Поверь, так для нее будет лучше.
 — Да как же это?!
 — Лучше она будет хранить добрую, светлую память об отце, чем думать о нем то, что есть на самом деле. Обещай мне, что никогда не встретишься с ней.
 — Я против этого. Она и моя дочь!
 — Во имя нашей любви я прошу тебя выполнить эти две просьбы. Я отпускаю тебя и желаю тебе счастья. Моя любовь к тебе будет вечной. Если тебе вдруг станет тяжело, наступит трудная минута, где бы ты ни был, знай, что есть сердце, которое любит тебя всегда... Скажи, ты сделаешь то, что прошу?
 Он долго молчит и курит, после чего произносит:
 — Хорошо, я выполню твою просьбу.
 — Спасибо тебе, милый, — слезинка катится по ее щеке.
 — Я прошу тебя, не плачь. Я не могу смотреть на то, как ты плачешь.
 — Я не буду...
 Они сидят, молча смотря друг на друга, еще очень долго. Наконец, он говорит:
 — Ну что, я пойду?
 — Иди, — шепотом отвечает она, не отводя от него любящего взгляда. Потом добавляет: — Ты такой красивый, — и улыбается сквозь слезы.
 — Раз уж я умер, то и вещи мои должны остаться дома, — предлагает он.
 — Как хочешь. Пусть остаются дома. Так будет даже лучше.
 — А если дочь спросит потом, где похоронен ее отец? Что тогда? — неожиданно спрашивает он.
 — Я скажу ей, что похоронен где-нибудь за границей. Не волнуйся, я сделаю все возможное, чтобы она не узнала ничего. Положись в этом на меня.

— Хорошо...
 — Давай я все твои документы вышлю тебе почтой? — предлагает она.
 — Давай. Вышли их на имя моей матери. Адрес ты знаешь.
 — Как скажешь.

Она всеми силами старается оттянуть момент его ухода, но это уже не в ее власти.

— Ну, прощай, — говорит он.
 — Прощай, — отвечает она.
 Он встает с места, вынимает бумажник, кладет деньги по счету на стол и тянется за сигаретами и зажигалкой, но она останавливает его.
 — Подожди. Не мог бы ты оставить мне свои сигареты и зажигалку?
 — Зачем? — улыбнувшись, спрашивает он. — Ты же не куришь.
 — Я на память об этом дне хочу оставить эти вещи.

— Гм... Ну ладно, бери.
 — А можно, я подержу тебя за руку?
 Он протягивает ей руку. Она нежно берет ее в свои холодные ладони и на секунду закрывает глаза.
 — Теперь иди, — говорит, отпуская его руку.
 — Прощай.
 — Прощай.

Он уходит. Молодая женщина остается на своем месте, смотря на лица людей в кафе, но совершенно не замечая их. Ей кажется, что она сидит одна и ничего не слышит, кроме своего сердцебиения. В ее ладонях теплота его руки, когда-то еще родной, но с этого момента уже чужой. Еще вчера она думала, что все будет хорошо, и как же теперь ей справиться с этим? Одна, сейчас она осталась одна, но жизнь ее на этом не закончилась! Ей только тридцать лет.

Она достает из пачки одну сигарету и закуривает ее, совершенно не ощущая, как едкий дым разрывает легкие. Докурив, она встает и уходит из кафе.

За всю свою долгую жизнь она ни разу больше его не встретила.



Дмитрий МИЗГУЛИН



Дмитрий Мизгулин родился в 1961 году в Мурманске. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт имени Н. Вознесенского в 1984 году и Литературный институт им. А. М. Горького в 1993 году. Член СП России. Академик Петровской академии наук и искусств. Печатался в журналах «Звезда», «Литературный Азербайджан», «Молодая гвардия», «Наш современник», еженедельниках «Литературная Россия», «Литературная газета» и др. Автор книг стихотворений «Петербургская вьюга» (1992), «Зимняя дорога» (1995), «Скорбный слух» (2002), «О чем тревожилась душа» (2003), «Две реки» (2004), «География души» (2005), «Избранные сочинения» (2006), «Духов день» (2007), «Новое небо» (2008), сборника рассказов «Три встречи» (1993), литературных заметок «В зеркале минувшего» (1997), книжки для детей «Звезд васильковое поле» (2002). Лауреат премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка (2004), премии «Петрополь» (2005), премии журнала «Наш современник» (2006), Всероссийской премии «Традиция» (2007), премии губернатора Ханты-Мансийского автономного округа в области литературы (2007) и лауреат премии имени Бориса Корнилова (2008). Живет в Ханты-Мансийске.

УВИДЕТЬ УТРЕННЕГО АНГЕЛА

Есть стихи, на которые душа отзывается с первых строк. Они — как родная речь — не нуждаются в дополнительном декодировании и, можно сказать, минуя закоулки сознания, сразу падают в сердце. Таковы стихи Сергея Есенина, Николая Рубцова, Станислава Куняева, Владимира Соколова... и Дмитрия Мизгулина.

Мой друг Дмитрий Мизгулин далек от следования тому или другому модному поэтическому течению, далек от дешевого эпатажа, далек от «математического» стихосложения, далек от желания понравиться и быть интересным любыми доступными средствами. Когда я в первый раз прочитал подборку его стихов, мне вдруг представился поэт, сидящий на берегу неспешной древней реки, в которой отражается классической и боговдохновенной красотой храм Покрова на Нерли. Захотелось присесть рядом и просто помолчать... Зная ритм жизни поэта, я не перестаю удивляться его умению останавливаться и погружаться в вечность. Хотя, в сущности, все просто: Бог наделил поэта талантом, и поэт поставил талант на служение Богу и Родине. Ни сиюминутным страстям и человеческим слабо-

стям, а вечности. При этом его на окружающий мир сочетает в себе тонкую наблюдательность, легкую иронию, любовь к жизни, любовь к природе, которые, поэтически преломляясь, укладываются в такие близкие всякому русскому человеку строфы. Небо поэта рядом. Надо только поднять взгляд, направить духовное зрение, и тогда к каждому может прилететь утренний ангел, разбивая, развеивая своими легкими светлыми крыльями нашу повседневную, брентную суету. Дай бог каждому начинать день со встречи с ангелом и не забывать, что в какой-то из дней

Вострубят ангелы — пора.
И никуда уже не деться.
Как будто кто-то со двора
Тебя домой зовёт — как в детстве.

И пусть, как сказал поэт, порой «на Родине, как на вокзале», но есть еще та река и стоящий над ней — величественный своей горней гармонией — Храм. Осталось только войти, помолиться о России, о народе, о нас грешных.

Сергей Козлов, г. Ханты-Мансийск



Птичьи права

Не имею — как маленький птах —
Ничего — только небо да ветер.
Я живу здесь на птичьих правах,
Улечу — и никто не заметит.

Самолеты летят высоко,
Неизбежно надёжны турбины,
Бороздить им привычно легко
Высоты голубые глубины,

А меня — не встречают. Не ждут.
Нет надежды — но нет и сомненья,
Не имеет значенья маршрут,
И отсутствует пункт назначенья.

Как мне дороги эти права.
Пусть они называются — птичьи —
Я лечу — и небес синева
Кружит голову вечным величьем.

А когда я однажды умру,
То душа рассмеется на воле,
Где печалью звенит поутру
Васильковое звёздное поле.

* * *

Дни нашей жизни коротки.
А ночи? Ночи бесконечны.
Туман над берегом реки,
А в небе — путь блистает Млечный.

А в небе — полная луна.
Молчит листва. Собака дремлет.
Покой вокруг. И тишина
Насквозь пронизывает землю.

Склонюсь к воде — волна легка.
Звезда в руках засеребрится,
И жизнь, как лунная река,
Сквозь пальцы медленно струится.

* * *

Мир ночной погрузился во мрак,
Дождь по крышам неистово лупит,
Ветер воеет за окнами так,
Словно утро уже не наступит.

Слишком поздно настала весна,
Бестолково кончается лето,
Ни надежды, ни света, ни сна,
Ни малейшего в небе просвета.

Утомлённые таинством тьмы,
Ждём с тревогой грядущих возмездий,
Хорошо бы дожить до зимы —
До снегов, до промёрзших созвездий,

Успокоятся мысли и сны
Под сиянием снежной луны.

* * *

Встрепенёт притихнувшую душу
Тот мотив знакомый и простой:
Выходила на берег Катюша,
На высокий на берег крутой...

Ох же и хлебнули мы отравы,
Закружилась круто голова,
Изменились времена и нравы,
Потускнели чувства и слова.

Нам привозят яблоки и груши
Из-за океанской стороны,
А голубоглазые Катюши
Нынче по Европе — в полцены.

Можно жизни радоваться. Можно.
Нефть и водка — полною рекой...
Только зазвенит душа тревожно
Неизбывной русскою тоской.

Онемеют небеса и реки,
Опадёт осенняя листва,
О последнем русском человеке
Повторяя скорбные слова.

И никто не будет больше слушать,
Как порой прекрасной, золотой
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

* * *

В жизни — всё идет по плану —
Поздно ляжешь. Встанешь — рано.
В баню утром в выходной.



Телевизор. Гости. Дети.
Сорок лет на белом свете
Пролетели. Пронеслись.
Это — жизнь.

Дни летят неотвратно.
Что-то в цель. А что-то — мимо.
Едем с ярмарки. Как будто
И не вечер. И не утро.
Лошадей неспешный бег —
Выпал снег.

В суете и круговерти
Чаще думаешь о смерти.
Утром чувствуешь усталость.
Сколько там ещё осталось?
По ночам тревожно спится.
Сердце. Печень. Поясница...
Едем дальше, не спеша,
А душа?

* * *

Не хотел бы подводить итоги,
Рано на пугающий покой,
Мне судьбою — умереть в дороге,
До звезды дотронувшись рукой.

Всё промчалось — годы, сказки, были,
И костров полночных сизый дым.
Было время — и меня любили,
Да и я когда-то был любим...

А о том, что не сбылось когда-то,
Не жалею — нет пути назад...
Не грусти — ведь ты не виновата,
Да и я ни в чём не виноват...

Догорают времена и даты
На закате сумрачного дня.
Радостно молюсь и виновато:
Господи! Не оставляй меня!

Пусть в ночи моя истает свечка,
Но очнусь счастливый поутру,
Чуя, как дрожит моё сердечко,
Как душа трепещет на ветру.



Наталья РУБАНОВА



Продолжение. Начало в № 9, 10 за 2010 г.

Публикуется в авторской редакции.

СПЕРМАТОЗОИДЫ

РОМАН [с]

[ссылка]

Да, Сана выходит на «Курской»: да, Сана едет в подстольный град, где скворечни дешевле, чем в граде стольном, а потому стоит на перроне, нервно теребя маленькую бутылочку САТТО'S (электричка должна появиться с минуты на минуту), и не сразу замечает все тот же бусин фантом: «Как ты могла, Саночка? Виски на вокзале... Тебе не кажется это дурным тоном? Что бы сказал отец!..» — «Почему ты ушла насовсем? Почему не приходила так долго?..» — у Саны трясутся плечи, САТТО'S летит в урну, а буся кричит: «Наш гробунок! Давай-ка, шевелись... Так и быть, разомну кости, не то опять одна в этой Ж. дел натворишь, а квартиру не снимешь!» — «Но это же "Москва — Петушки"!» — слабо сопротивляется Сана. — «Какая разница? Электричка идет в Ж.» — буся удивленно поднимает брови: ни дать ни взять Анна Кэ!.. А *после поезда* она стала, пожалуй, даже красивей, замечает Сана и заходит в вагон, где честной планктон бьет ее диалектом серпа и молота с карачаровским душком-с¹: под дых, под дых.

Не чужая себя, протискивается Сана к бусе (как она могла опередить ее и откуда тут вообще м е с т о?), а потом, нашептывая hand-made-мантру, садится к ней на колени: «Е-ха-ли мед-ве-ди на ве-ло-си-пе-де... в ямку провалились, ОМ!» — все так, все так же, как в детстве, когда буся, легко подбрасывая ее в воздух, пела, а Саночка с замиранием сердца ждала заветного «в ямку провалились!»: вот сейчас буся — как всегда, в самый неожиданный момент, — расставит коленки, и Сана, проваливаясь,

слегка зависнет над полом, а когда, как ей покажется, почти упадет, окажется ловко подхваченной, и все — ОМ!money... — сначала: «Е-ха-ли мед-ве-ди на велосипеде...» — С Новым годом, Саночка! Спокойно Снегурочке «Елочку!» — «Х...й вам, а не елка!» — отглаголит в ответ нехитрую истинку sex-shop очередного тысячелетия; «В новый год с новыми проблемами!» — прослоганирует Сеть; «Вы еще не купили новый стеганный чехол для любимого чайника?..» — покачает головкой мальчик-зайчик: Санин переезд в подстольную совпадет чудесным образом с harry new year.

Она, несмотря ни на что (а может, так: не смотря, не глядя — зажмурившись), чувствовала себя почти счастливой. «Почти», потому как *чуть-чуть* — считается: да только *чуть-чуть*, собственно, и считается. Квартирка-квартирка, повернись ко мне передом! Что мне обои твои, что — краны, что Blattella germanica²? Вот же она, неприкосновенность частной жизни — горстями есть, не подавиться б.

Вещей у Саны не так уж много — в основном книги да диски; мебель же и прочая дребедень погружены в заказанную «газель» и — «Ссс вэтэрррком, кырассавыца?» — доставлены тридцатого декабря в град Ж. Тридцать первого же, после распаковывания мешков и чемоданов, Сана крутила «Олимпию» Лени Рифеншталь, слушала под перуанские мотивы (диск П.) онемеченную речь Значительного Лица — и потому та чудесным образом не раздражала, да медитативно щелкала пультом (если Сану спросить, что именно она видела, едва ли она ответит), ну а

¹ Имеется в виду безызывственная глава «Серп и Молот — Карачарово» из безызывственной поэмы Венички.

² Прусак, рыжий таракан.



первого достала подсвечники — один белый, другой розовый, — и зажгла аромалампу: чампа, любимый цветок Кришны¹, Dead Man's fingers²: странные все-таки существа — люди, надо же так назвать... Есть разве что-то чудесней запаха этого, тропической свежести этой — лучше?.. Другими словами: соединения сложных эфиров нетерпеноидных да кислот алкановых-алкадиеновых — есть ли?.. Сана не знает, хотя, возможно, т е н и: да-да, возможно, тени и *лучше*, тени на потолке, похожие, если позволить себе с д а т ь с я, с треском провалившись в мечты, на те самые облака, танцующие над морем, к которому они с П. так и не поехали.

Сана лениво потягивала CATTO'S под «Анатомию»³, вспоминая концерт в ЦДХ, куда частенько бегала раньше (как, впрочем, и в Музей кино, пока тот не закрыли) и где появлялась теперь лишь изредка: все меньше сил оставалось на то, что по-прежнему называлось искусством («арт-продуктом», хрюкали худmanager'ы с дипломами кульковиков-затейников⁴) — да и зачем тратить время? Как ни крути у виска, ничегошеньки с душой-то ее не резонирует. Из всех залов и галерей выходит Сана скорее опустошенной, нежели наполненной — и киноклассика уж не та, и авангард приелся. Что-то чужое, чуждое стоит за всеми этими «арт-высказываниями art-объектов»... Иногда Сана чувствует, будто вместе с «продуктом искусства» в нее в с т а в л я ю т кусок чьей-то пластмассовой боли — ядовитые испражнения не ведающих покоя душ, прячущихся под масками музыкантов и прочей *сволочи*, как сказал бы царь Питер⁵, не то что не прибавляют ей, и без того чуть живой, сил, а, скорее, отнимают последние.

Осмысленный пока лишь на бессознательном уровне, расстрельный список Саны день ото дня пополнялся (и первыми «тремя китами», на которых стояла когда-то планетка ее воображения, стали, увы, Шнитке, Каурисмяки и Дали): в какой-то момент она почувствовала, что физически, до спазмов в горле, не может воспринимать то, что когда-то любила. Все чаще — как любой, впрочем, неопит — задумывалась над тем, имеет ли право художник впрыскивать в душу user'a hand-made-рвоту, класть на лопатки двуногого, не способного к созданию *объектов и смыслов* лишь потому, что является про-

водником — и не более, не более — некоей энергии... «У медиума просто ширина потока в разы больше⁶, — скажет потом Полина. — Важности, которую на шарике этом одаренности придают, не существует. Талант — следствие подключения биомеханизма к мощному энергоинформационному каналу, вот и все...» *И все*: «Папа, а зачем нам такие большие ноги?» — спрашивает маленький верблюд взросло-го. — «Мы корабли пустыни, сынок. Мы идем день, два... Много дней, мы никогда не устает!» — «Папа, а зачем нам такие большие горбы? Для чего они?» — «Мы корабли пустыни, сынок! Мы можем обходиться без воды долго, очень долго!» — «Папа, а на хера нам все это, если мы в зоопарке?..» Сперматозоиды, сжала виски Сана, ничего своего: мясные компы с думалкой, профессионально обученные страдать и бояться... *А в небе Сирокко с Бореем сошлись*⁷: Сана поставила «Зиму» и подошла к окну — а ведь облака, Смит, похожи на белых крыс... крыс, нанизанных на шампур, вздрогнула она, и неожиданно заскулила. Да, П. все еще хотел ее видеть, и это не было бы настолько банально, кабы его *жс.* не уехала с киндерами в Тулу — *не в ту*, тольтекскую⁸, *не в то время*, а жаль, жа-аль, ведь, коли точка сингулярности действительно существует, вероятность того, что его *жс.* принесут в жертву, до сих пор остается... Сана гнала, гнала, конечно, подобные мысли, и все же... *И все же (потирая руки)*: если так называемое пространство вариантов вмещает в себя бесконечное количество секторов, если User силой мысли волен «высвечивать», будто фонариком, тот или иной сектор и попадать туда, куда, как ему представляется, *именно сейчас* необходимо, то его *жс.* — в одном из ее, Саниных, секторов — вполне может претендовать на роль примы в ритуальном жертвоприношении... Ок, пусть э т о сделают не тольтеки, ок: пусть ее ожившим сердцем займется ацтекский жрец — пусть вырвет его в главном храме Теночтитлана, *ничего страшного*... Так думала Сана до тех самых пор, пока не услышала: «Дай червонец!.. Да я, хошь, презику⁹ башку оторву — похмели, ну чо ты! Да я за тя молиться буду — у меня ж иконка есть...» — «Когда презиком станешь, тогда и дам»: цок-цок, тетка, перецок.

А за полночь — романсы кровавые: «Зззойка-а-а, откrrrrvввай! Откrrrrвай, кхм-му грррю!»

¹ Чампа: франжипани, плюмерия, лилавади, красный жасмин.

² «Пальцы мертвого человека» — одно из названий чампы (австралийск.).

³ Акустический альбом «Анатомия» Ольги Арефьевой.

⁴ От *Института культуры*, в просторечии *кулек*.

⁵ «А врачей, музыкантов и прочую сволочь согнать на левый фланг!»

⁶ Имеется в виду большая, чем у «среднего» человека, ширина энергетического потока.

⁷ Вивальди, «Времена года». Из программы к «Зиме» (L'Inverno).

⁸ Тула — древняя столица тольтеков, расположенная недалеко от ацтекского Теночтитлана.

⁹ Президенту.

Ззойка-а-а-а!!!» — и так минут сорок. *Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя*¹: Сана сонно глядит на часы — без четверти-давно-уже-ночь, без четверти-давно-бы-спать, без четверти-сменить-бы-жизнь, ан нет: то стук за дверью, то мат... И: *дзынь-ля-ля!* — нагло, нахраписто: три часа ночи.

Сана лежит, не шевелясь; под боком Марта, лучшее в мире лохнесское чудовище, лохматое чудюдо дворянских кровей, обнаруженное аккурат в тот еще праздничек Цеткин и Люксембург у одного из «парадных» (ах, если б те был!) града Ж. Гноющаяся рана да запекшаяся на морде кровь — вот, собственно, и все, вот, собственно, и вся love story, — ну а дальше глаза в глаза, зеленые — в карие, дальше глаз собачьих ехать некуда: что-что, а уж это-то Сана знает наверняка, как знает наверняка и то, что никогда не возлюбит *ближнего* — прошло много лет, а з в у к все стоит в ушах, все не отпускает...

Она брела к «Иллюзиону» дворами; «пш-пш, пш-пшигр», «пш-пш, пш-пшигр» — шарканье чужих ног сзади раздражало. Вскоре, правда, все стихло — вместо «пш-пшигр» она услышала глухое неприятное «блуммм», потом еще несколько раз — «блумм», «блумм» — и обернулась: старуха била собаку здоровенной сумкой с торчащей оттуда железкой. «Что вы делаете?..» — крикнула Сана, а подбежав к ней («Нах рули, ясна-а? Мая с-сука... вали, на-ах»), заглянула в щелки бабкиных глаз и невольно отшатнулась, но уже через миг, не помня себя, попыталась вырвать у нее — ужасные, ужасные митенки, обнажающие крючковатые ногти, — поводок: собака заскулила, потом зарычала, потом опять заскулила... Сана не помнит, как они, разом сцепившись, превратились в живой клубок, как покатались по снегу, и как проходивший мимо папик семейства (прокладки Bella и детская смесь в пакете) с любопытством наблюдал за происходящим...

Не думать: об этом и том, том и этом — не думать, три часа ночи! Но как? Сана помнит, как бросила пакет с нехитрым провиантом все у того же «парадного» и, взяв скулящую псину на руки, заторопилась в скворечню. Пока же шла с бесценным грузом по парку, поняла, что ни к одному существу не испытывала еще той безусловной любви, которая вспыхнула вдруг к этой зверюге, — Сана всегда, конечно, таскала домой всякую живность; в институтскую же бытность умудрилась выкрасть из вивария несколько живых душ, которых готовили к плановой смерти, не предполагающей анестезии, — *в тех случаях, когда применение наркоза невозможно или недопустимо, необходимо пользоваться специальны-*

ми операционными столиками или приспособлениями для фиксации животных, предупреждающими возможность укуса персонала, — и все же... Марта, что бы я без тебя делала, шепчет Сана. Как это там — «идеальные лабораторные условия для воспроизведения невроза»?.. Где это — т а м?.. Не в электричке ли, где становишься ближе к народу и народ становится к тебе ближе — упирается в почки, сдавливает грудную клетку?.. «Ты, пассионарий гребаный! — летит из тамбура: звон, стук, треск. — Я тя щас как-ак...» — «Херовыпрямитель купи, чмо болотное!» — «Не п...и, будь любезен!» — и опять: треск, стук, звон. «Пассионарий», хвативший в граде Ж. пива, справляет нужду в тамбуре: обычно *за это* не бьют, но раз на раз не приходится, молчи, Сана, молчи, — а лучше, панночка, о п у с т и в е к и... В электричке появляется чувство локтя, думает, зевая, панночка, и не поднимает век до самой стальной: от стоящего рядом мужичка в замшелой телогрейке (аксессуары: чекушка и изъеденная молью кроличья шапка) несет мочой; в вагоне последнего и единственного класса играют, разумеется, в карты: «Король, сука, не стоит!» — «Да у тебя в штанах хоть бы встал, радость твоя!» — гогот, «Дэвушк, а вас как звать? Ути-уть, какие мы гордые!», поднимите мне веки — туда и обратно, хоббит, туда и обратно, туда и... где эта улица, где этот дом?.. Ubojnaja-street не освещается н и к о г д а: жизнь замирает после восьми; *дзынь-ля-ля!* — а звонки все настойчивей: шум, гам, мат средней тяжести — Зойка-красотка, как называют соседку аборигены, гуляет. Это потом она, с позеленевшим лицом, будет психоделично зависать над *прикроватным тазиком*, полным желчи, умоляя Сану сделать «хоть что-нибудь», это потом будет клясться, что «никогда больше...», — ну а пока Зойка пьет: ей все еще тридцать семь, она миниатюрна и на редкость хороша — исключительно породистое не только для града Ж. лицо (ошибка сперматозоида, грустит Сана, перепутавшего беговую дорожку, опять сбой программы!). Всю жизнь Зойка, как пишут любители выдавить слезу из словца, м ы к а л а с ь по ресторанам да магазинам — официанткой да продавщицей, однако, несмотря на специфичность работы, умудрилась не растерять крохи вежливости (*Здрассте, Спасибо, Извини*) и даже казалась несколько застенчивой в мелочах, хотя скажи ей кто-нибудь о том, она искренне удивилась бы.

Первый ссыльный год Сана невольно наблюдала за малоосмысленным существованием соседки и двенадцатилетней ее дочери — благополучно онемеченная телекартинка, радио «Шансон», нерегулярное появление в церквушке града Ж., т у с о в к и, жмущаяся к двери черная кошка, капельницы с гемодезом: «Сана, да если б не ты, я б и не знаю чего...»

¹ «Дао дэ цзин».



Второй замкнутый круг ссылки начался с того, что Зойкина мать увезла внучку в стольную, тайком забрав документы из школы. «Представляешь... Ликуньку-то мою... взяли...» — Зойка хлопнет носом и уйдет в очередной запой: один из них, осложненный сотрясением мозга, Сана помнит особенно отчетливо. Зойка стояла перед ее дверью, еле держась на ногах — рукав дубленки болтался, под глазом красовался синяк, сапоги были по колено в грязи: «Не дала я ему, не дала-а! Думаешь, если пью, падла, значит, даю всем?.. А он возьми — да по голове, по голове-е! Чтоб я еще с ней куда... Я ведь спрашивала: нормальные мужики будут? А че, говорит, нормальные мужики, руки-ноги... Я ж спрашивала, Сан, я ж ее спрашивала... А он — по голове, по голове-е-е...» Лежала она с неделю и, в общем, выкарабкалась довольно быстро — а как выкарабкалась, круг опять замкнулся: «Сан, выручишь стольничком до завтра?» — «Зззойка-а-а-а, открррвай! Открррвай, кхм-му гррю! Зззойка-а-а-а!..»: *Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя.*

Сана не торопится: заходит в подъезд да переминается с ноги на ногу — ждет, пока створки лифта захлопнутся и ч у ж о й уедет: она, разумеется, не одинока — точно так же стоял кто-то вчера и ждал, пока она, Сана, не отправится восвояси. «От грусти не умирают», — знает она, пытаюсь утопить в панели кнопку «9». Но: если не шевелиться, кожа рано или поздно побледнеет, дыхание сойдет на нет, пульс исчезнет, сердце остановится, а чувствительность на раздражители отпадет за ненадобностью... Так, ни живая ни мертвая, отпирает она скворечню и, подходя к зеркалу, удивленно рассматривает свое отражение: да вот же, вот же он, *кошачий зрачок*¹! Сана сдавливает глазное яблоко: зрачок принимает овальную форму — значит, она умерла пятнадцать минут назад: все четко, четко, как учили... Песочные ли часы врут, солнечные ли?..

[ее пушкин]

Дорога из подстольного града до стольной конторки занимает аккурат два часа: есть время вспомнить, когда именно она, Сана, впервые ощутила себя тем, что называется «винтик системы», «бесформенная слипшаяся масса», «комоч информационной слизи», «шлюха, обслуживающая системный блок», — бороться с безмянным чудищем, обволакивающим тебя, чаще всего не было никаких сил. Все это смахивало на паралич — да, Сана барахталась в болоте, да, все еще барахталась, и все же чьи-то невидимые, но вполне осязаемые, ручонки — тоненькие, гадень-

кие — неотвратно тянули вниз... Да, она изо всех сил сопротивлялась («Ошибка: чем сильнее сопротивление, тем мощней удар: противоядие в снижении уровня важности, и только» — Полина-Полина, где ж ты раньше была?..), но в какие-то моменты казалось: еще чуть-чуть — и сдашься, сломаешься, рассыплешься... «Большой Брат смотрит на тебя, хватит хныкать!.. Поддержи-ка лучше Россию — пусть всю эту неделю на экране твоего телефона развевается флаг Родины, а при звонке звучит ее гимн! Отправь SMS со словом Russia на номер 8881 и получи анимированный флаг и государственный гимн в формате mp3 на свой телефон: ты живешь в великой стране!» — «Х...й соси, губой тряси...» — активизированный люмпен возвращает в реальность: Сана с треском захлопывает окно, что, впрочем, не спасает от шума, в потоке которого довольно отчетливо различим голосок картавого в кепочке: «Геволуционер обязан уметь достигать стратегических целей любой ценой, спокойно воспринимая тактические трудности как неизбежные завалы на магше». Сана вздыхает и, доставая из коробки новый shoes, вышагивает перед собакой: «Ну и как, Марта, как тебе все это нравится?..»

Это потом узнает она об эгрерорах и маятниках, раскачивающих двуного затем лишь, чтобы лишить сил: лень, на самом-то деле, еще и недостаток энергии — не потому ли половина субботы, драгоценной субботы, когда Сана никак не может подняться с кровати, попросту вылетает?.. Хотя глупо жалеть о том, чего в принципе не существует, а значит, раз у нее, Саны, *нет времени*, то и жалеть не о чем... Утешение, впрочем, не тянуло на хоть сколько-нибудь убедительное: то ли дело *колесо времени*, думала она, все чаще видя во сне смешных и страшных шаманов, — бесконечный туннель бесконечной длины и ширины, туннель с зеркальными бороздками, говорит она П. — Время, нарочито серьезно произносит он, есть непространственный континуум, события в котором происходят в несомненно необратимой последовательности и развиваются от прошлого через настоящее к будущему: или в институте недоучилась?.. — Не знаю, как насчет «континуума», морщится Сана, но то, что пространство представляет собой некую бесконечную протяженность некоего поля... и в нем, в этом самом поле, существуют звезды и галактики... и сама Вселенная, кото... — Ба, да вы подсели на эзотерику: стыдитесь, миледи! Вселенная не бесконечна, она заканчивается там, где кончается свет. А свет не может быть везде... — Если любишь, свет везде... — Ну, это если любишь.

Пространство вариантов бесконечно, скажет Полина, а Вселенная изобильна: нужно просто позволить себе иметь — дело «лишь» в правильно создан-

¹ Один из первых признаков смерти (признак Белоглазова).

ном намерении, в четкой его формулировке, а Сана подумает: если ты влюблен/а в мужчину, то в любом случае чувствуешь себя бабой (прямое сходство с пассивным гомосексуализмом), и по дороге домой едва не расплачется, но не от пресловутой жалости к себе, а от подсмотренной случайно картинки мироустройства — реальной, не иллюзорной, картинка не злой и не доброй, обнажившей вдруг п л е ч и к о, но не ставшей от этого хоть сколько-нибудь эротичней... Легче легкого дергать спящего за ниточки, повторит Полина в следующий Санин приезд, еще легче поглощать мысли того, кто не собирается просыпаться или не знает, что спит: разницы никакой. Энергию ведь только в нейтрале не снимут: нет у *тебя* реакции — нет у *них* пищи. Чем эмоциональней среагируешь, тем больше у сущности, всплесками твоими питающейся, к о р м а — ну и тем меньше, соответственно, сил у тебя. Все просто: хочешь энергию сохранить — обнуляйся. — Но я пытаюсь понять, как... — Не смей: до п о н и м а н и я нужно кое-что почувствовать: точка сборки¹ должна сместиться: а через несколько ступеней перескочить не пытайся. — Но не будешь же ты утверждать, будто мир справедлив и каждый получает по заслугам? — Мир справедлив и каждый получает по заслугам, получает то, что хочет иметь в данный момент времени на данном отрезке пути: осознанно или не. А вообще, кончай со своей рефлексией: Руиса полистай, пользы больше будет. — Нет, не могу: примитивно... — Привет твоему фирменному академизму: да, Руис пишет простым языком... — Простецким! — ...исключительно для того, чтобы каждый — понимаешь, каждый — понял, что именно хотят до него донести. Интеллект иногда только мешает, потому как не пропускает в душу живое знание: отпусти себя, просто прими информацию, не циклись на способе подачи... — Невозможно: *стиль* не менее реален, чем мое или твоё тело. Как а в т о р, пусть даже «совершенномудрый», может быть напрочь лишен дара слова? Это ущербность, дилетантизм: уж тут-то тебе меня не переубедить... Впрочем, я, знаешь ли, все чаще кажусь себе дурной имитацией Флоринды или Тайши...² — Ну, до этих *барышень* тебе далеко, хохотнула Полина; я же не собираюсь никого переубеждать. «Зацепить» невозможно лишь пустоту, а у тебя есть шанс стать пустой... — Но я не хочу, я слишком наполнена! — Ха, и после этого она говорит, будто в состоянии постичь

¹ Условный термин; некая «светящаяся точка» на энергетической оболочке. Положением «точки сборки» определяется взаимосвязь человека и мира; ее смещение приводит к значительным изменениям в мировосприятии.

² Флоринда Доннер, Тайша Абеляр: последовательницы кастанедовской линии.

Знание, после этого с пеной у рта доказывает, будто мир к ней «несправедлив»! Знаешь, Хуго Балль уже лет сто назад написал, что нужно сбросить, просто сбросить свое «Я» — сбросить, как дырявое пальто³. Ты вообще читала Балля-то, эрудитка?..

В дом Полины Сана попала, как ей когда-то казалось, случайно. В поисках «чего-то большего» (на самом-то деле, чтобы заглушить боль, вызванную отсутствием П. — или, скорее, его редким присутствием, провоцирующим обострения чувственного гриппа) бродила она той зимой по эзотерическим сайтам, заходила на какие-то семинары и тренинги (ДК, офисы, облагоустроенные чердаки и подвалы), которые проводили большей частью либо товокнутые дядьки, усиленно выжимающие из себя позитив, либо быстро набирающие транс-вес тантрические юнцы в ярких рубашках, либо уж дамочки «с ногтями» да сухопарые пирсингованные девы с таинственными улыбками. «Алхимистка: духовное посредничество! — радостно сообщала интернет-рассылка. — Помощь в изменении кода и программ в Хрониках Акаши! Принимаются заказы», delete, «...приглашаются искатели истины», delete, «...если вы заинтересованы в исследовании своего внутреннего мира, найдите ребефера в вашем районе», delete, «...знаете ли вы, что динамика творчества одинакова как для художника, так и для человека, стремящегося ускорить процесс утюжки белья?», delete, «...самые эффективные из всех существующих на Земле упражнения для женщин», delete, «...семинар-тренинг, где мы расскажем вам об основах счастливой жизни — квинтэссенция знаний, дающих потрясающую возможность возвыситься над внешней обыденностью: предварительная запись и оплата 5000 рублей обязательна, желаем вам счастья и божественной любви!», delete, delete.

И все же, узнав о медитации на поющих чашах, Сана забрела в некую квартиру (псевдояпонский стиль, свечи, благовония, «ловушка для снов», etc.): девять растянувшихся на циновках М и Ж, четверо из которых захрапят через минуту после первого звука, показавшегося Сане волшебным, превратят потенциальный relax в сущий кошмар, а уж от йога, который начнет увлеченно массировать огромные свои стопы за несколько минут до сеанса, ее едва не вывернет... Был визит и в душную комнатку, уставленную свечами и фигурками Будд, где *uchitel'* рассуждал о Ничто, благословляя четки — «...из состояния пустоты-ы каждая бусина появляется в своей собственной фо-орме, из состояния пустоты-ы...», — а потом пел мантры. Дирижер? Режиссер? — он тех-

³ Хуго Балль, 1915 г.



нично подавал знак унылой своей пастве (больше всего расстроили Сану фанатичные глаза бесформенной, неопределенного возраста особы, сидящей напротив): голоса сливались в нестройный хор, на лицах читалось слащавое умиление, а Сана снова не знала, какой дьявол украл у нее вечер и что она делает на сеансе порнопросветления.

Потратив кучу денег и времени, так и не обретя обещанной «гармонии с собой и миром» — йога с йогнутыми (*встаньте лицом к востоку и мысленно пожелайте всем живущим на земле благополучия...*), как и цигун с цигуннутыми (*точка цзинмин относится к меридиану мочевого пузыря и является зеркальной...*), тоже не впечатлили, — Сана разочарованно выдохнула и решила пойти («Последний раз!») в некий центр медитации, где и познакомилась с довольно вменяемой, по сравнению с «условно адекватными», девицей, занимавшейся у Полины что-то около года: «Тебе к ней надо, вот телефон».

Сане, пожалуй, действительно было н а д о, только она не знала уже, куда именно и к кому. Раздрай достиг апогея: просыпаться по утрам для того лишь, чтобы тащиться в постыльную конторку, не было никаких сил — не было их, впрочем, и в выходные, когда пусть иллюзорная, но все же свобода, казалось, вот-вот войдет в двери, однако та сомневалась, топталась у порога, а потом и вовсе исчезала... Все чаще прихватывало сердце, все мрачней становились мысли — и дело теперь было, конечно, не только и не столько в П., с которым Сана мечтала уже расстаться, настолько невыносимы стали ломки после коротких и, по обыкновению, никчемных встреч: сама атмосфера, сам антураж, сами пространственные декорации, казалось, подводили к тому, чтобы написать более чем банальное и, вместе с тем, единственно возможное *tak bol'she nel'zja*: пусть на песке, пусть транслитом.

Пепел, помнит Сана, конечное состояние матери: она не разлагается, она чиста и стабильна — так же чист и стабилен пепел ее любви, который отправится скоро в очередную урну, готовящуюся пополнить великолепный колумбарий ненужных чувств-с: они, как и люди, тоже бывают лишними, дважды два, *detka*, или забыла?.. «С этого места поподробней, *love story* представляет непреходящий интерес для работающих женщин среднего возраста, сегмент масс-маркет», — встревает Кукловод. Ок, ок, *очаровательные подробности*: положение неподвижное, кожные покровы бледные, нет ни дыхания (ну или почти), ни пульса (ну или почти), ни сердцебиения, чувствительность на раздражители отсутствует. Все дело, собственно, в пресловутом «почти», однако едва ли это мнимая смерть — вот он,

кошачий зрачок! Как только Сана сдавливает свое глазное яблоко, зрачок тут же принимает овальную форму — значит, очередная смерть снова наступила пятнадцать минут назад, значит... «Ты повторяешься, ты уже шутила так несколько страниц назад, — качает головой Кукловод и тут же пошлит: — Любовь и смерть — смолчавшие ягнятки вечных тем, отродья овцы Долли!» Сана не отвечает: к чему слова, если она, наконец, поняла, что же *на самом деле* имел в виду АСП, когда писал «Я вас любил...»!

Она читала э т о на кухне (кому сказать — не поверят, да и не надо, не надо никому говорить), читала вслух, прислонившись к косяку, а потом обцеловывала стену, представляя, будто э т о и не стена вовсе, а щека, щека П. — и отпускала, отпускала, отпускала его, отпускала навсегда, насовсем, смеясь и плача: отпускала до тех самых пор, пока совершенно отчетливо не увидела некое прозрачное существо, тающее, будто медуза, выброшенная из воды на песок, у нее на глазах — таяло оно, впрочем, уже над унитазом: туда-то и ўхнула благополучно болезненно-глупая — бывает ли любовь здоровой и умной, кстати, — его тень.

[собственно романс]

«Все уже было, Плохиш: так ли важно, в каком измерении? Пространство вариантов бесконечно... Возможно, чтобы хоть немного заглушить острую боль, так и не ставшую привычной, — я ведь была одновременно и вивисектором, и «неведомой зверушкой», — следовало с кем-то банально переспать; народное лекарство — и н о р д н о е тело, *klin klin'OM*... но я разучилась: разучилась с п а р и в а т ь с я. Омеханичивать процесс с о и т и я — разучилась. А может, никогда не умела. Как ни странно, «все зашло слишком далеко» (цитатка из позитивнотого романа с силиконовым хэппи-эндом) — излечима ли кессонная болезнь такого рода?.. «Кармические завязки», скажет Полина, «любые отношения — это отработка», а я... будь моя воля... станет ли когда-нибудь *моя воля* — моей? В е ч н о с т ь — всего лишь слово, глупышка Кай: снимай, снимай же ее на пленку, сдирай, сдирай же мою шкурку!.. Возможно, тебе и удастся проявить бесценные кадры — но только после того, как сáм ты оттаешь».

«Ты в своем доме — но дом этот как бы «а-ля рюс», хоть и у немца стоит. Что-то типа избы деревянной, но модернизированной. Я — где-то поблизости, за кадром; меня не видно, но я — есть, и именно в доме. Ты почему-то в платке и в чем-то синем: смотришь в окно. Окно почти открыто — на улице все зелено-серое, туманная такая мрачная зыбь, мо-



Рисунок Антонины Решетниковой



рось; почти под окном, поодаль — баба и девка. Баба противная — как бы крестьянка русская, в платке, рожа неприятная, расплывчатая. Усмехается. Как бы “сильная”. Девка — в джинсах, в растянутом свитере; короткая стрижка, крашенная в жуткий бордовый: вроде как облезшая химия, с которой ходят тетки, вспоминающие о цирюльне только когда стали уж совсем неприглядны. И вот эти сучки подходят к окну и начинают туда, наверх, в дом, карабкаться (а высокогато). Ты — лица не вижу — поливаешь их водой из ведра, будто смываешь. Вода холодная, чистая, ее много. И это ТАК СТРАШНО — то, что они ЛОМЯТСЯ! И тут я понимаю, что баба — именно что Смерть, а девка — ее дочь (Жизнь?). Каким-то чудом тебе удастся закрыть окно, хотя они своими ручонками уже цепляются за шпингалет. Причем больше цепляется Смерть, Жизни как бы “по барабану”, она со Смертью скорее за компанию. Просыпаюсь со стуком оконной рамы...»

«Я отчаянно не хотела страдать: именно поэтому, наверное, и получила тогда по полной — что ж, никогда не поздно захлебнуться тем, что называется blood, Blut, sang, sangue, sangue — смысл неизменен...¹ Как учили: венозная, капиллярная, артериальная — смотри, как весело! лужи какие! а краски! И запах этот еще... запах железа... Почему ты отворачиваешься?.. Э-эй, Плохи-иш!.. *Осадки в виде дождя*, говорит и показывает массква, — а ты не верь, не верь ей: *осадки в виде крови*, говорю я, верь мне».

«Знаешь, как дышат киты перед погружением?.. А когда всплывают на поверхность и с силой выдыхают — знаешь, нет?.. *Слой конденсированного пара* называется в просторечии *фонтаном*, а *кессонная болезнь*... кессонная болезнь: слышал, как поют влюбленные киты?.. О, они не ведают еще, что из костей их и сала выварят жир, что амбра закрепит духи белых женщин, а печень пойдет на инсулин: они к а к д е т и...

Но: желатин и клей, желатин и клей, а еще: маргарин, лярд, грим... Я — *Kogia breviceps*², выброшенный на берег экземпляр: привет, Плохиш, привет, Карлсон! Мне крышка, крышка... Каждый день высаживаются китобой в свои шлюпки, каждый день подплывают ко мне близко-близко, каждый день, каждый божий (?) день забивают меня до смерти... Вообразишь разве *звериную* боль? Поймешь ли, что такое *на самом деле* не к у д а д е т ь с я?.. Вот гарпун,

а вот стукачок-линь... Пустой шакалящий бочонок — дьявольский поплавок: за ним-то и мчатся ОНИ на всех парусах; он-то, указывающий мой след, ИМ и нужен... Пил ли ты воду с кровью, Плохиш?.. Каждый раз, когда мне удастся вынырнуть, чтобы хоть немного вздохнуть, в меня всаживаются новые гарпуны. Как странно... как все странно... именно твой оказывается последним».

«Там, внутри, очень много слов... когда же я пытаюсь обрисовать их, едва различимые в трехмерности, контуры, то чувствую, как спешат они улетучиться. Любая твоя вибрация — мираж, фикция, фантом, превращающий меня в м а т е р и а л, из которого ткнут занебесные ремесленнички эфемерное полотно странных своих азбук, а потом шьют из него невидимые хлопья... Так-то, без плоти, легче: контакты “зрачок в зрачок” или “рот в рот” не кажутся грубыми лишь до поры. Почему бежишь двойника своего?.. Чего боишься?.. *Да, нет, не знаю*: обратная сторона Луны у меня на ладони...»

«Энергии, возникающие в процессе нашего взаимодействия (откуда этот сухой, ржавый этот язык?..), каждый волен обозначать как ему вздумается, однако есть нечто, не поддающееся двойному прочтению. Уловишь ли частоту этой вибрации? Догонишь ли?.. Знаю лишь один грех: ложь, обман своего естества. Но зрачки-то, зрачки-то с в е т я т с я — лучатся! несмотря! на то! что ты! посчитав свет “излишеством”! решил его выключить!..

Итак, свет — не Тот: Твой. Действительно ли он нужен мне? Не теплые лучи гладят меня, о нет: тысячи игл впиваются в кожу, которая, если вдумать, выполняет некую компенсаторную функцию, — прикасаясь к ней, ты плещешься в волнах, игра с которыми невозможна в лягушатнике под названием “тихая семейная жизнь”: трение — всего лишь трение, ja lublju tebjа — всего лишь чья-то, чужая, SMS».

«О стенки матки моей бьется — хрупкая, уязвимая — душа твоя. Сжать бы ее до хруста — сжать до крика... сжать так, чтоб кровь потекла из матки моей прямо в сердце твое... но ты молчишь, о главном всегда молчишь: погода на Марсе занимает тебя все чаще — да ты, гляжу я, п о д к о в а н: о, как скучны сводки!.. как превращаются в вериги лотосы — видел?.. Удачного полета!»

«Я заключу с собой договор. Долгосрочный контракт. Поставлю условия. Обозначу цели. Приоритеты. Не забуду о задачах. Разработаю план действий. Я справлюсь. Справлюсь, черт дери: глу-

¹ Кровь (англ., нем., фр., итал., исп.).

² Карликовый кашалот, или когия (*лат.*): держится на расстоянии от берега и ведет малозаметный образ жизни; изучены в основном обсохшие и выброшенные на берег экземпляры.

по было бы! Вот только б немножко воздуха, *на по-шоок*: я случайно запеленговала твой, вообразив, будто он-то и не даст задохнуться, а потом обманула себя, решив, будто ты сам и есть мой воздух... вот он, “русский абсурд” и “русский ужас”! Никто не может — не должен — быть воздухом для другого. Не знаю, можно ли хоть что-то изменить — или там в с ё предначертано, и наши “колыхания” — всего лишь движения застиранного белья на ветру?.. *З а с т и р а н н о г о*».

«Я думала, будто могу дарить тепло... на самом деле, никакого т е п л а во мне тогда не было: не могло быть. И ты интуитивно, безотчетно отдалялся: я поняла это много позже, уже после того, как начала работать в энергиях. А раньше... раньше казалось, меня продезинфицировали — или, скорее, так: ошпарили кипятком мозги, просушили, отпарили и снова вставили в черепушку: вот тебе и *космической шлем скитальца*...¹

После “операции” осталось стойкое ощущение того, что выскребли из меня не только все наносное, вязущее, липкое — если б! Вместе с так называемым букетом болезней исчезло и нечто неуловимое, нежное, невероятно красивое... Я чувствовала, *из меня выкачали меня саму*... Не знаю, как выразить это на языке людей, не знаю. Не вижу смысла».

«Спала беспокойно; проснувшись же, почувствовала, что рука моя прячется в твоей ладони... обман, один обман! Очнулась ведь от рева будильника — темно, холодно, ни души. Чтоб не бояться, решила п о ц е л у й вспоминать: он во мне, во мне остался, а вот *качественный состав*... качественный состав другим стал... Наполненность его, глубина, сила — а может, пустота?.. слабость?.. И тут же, на мели — нега, нега болезненная... что-то похожее ощутила я, увидев во сне Коломбину, — заводная кукла, вставленная в мой мозг, пошленько танцевала, и мне никак не удавалось от нее избавиться. Но хуже всего было то, что я понятия не имела, на самом ли деле это избавление необходимо... Вообрази, сказала ей, я на кушетке, лежу, как водится, обнажена, с гусиной, знаешь ли, а ты — рядом, на стуле, стул у моего изголовья... ты пахнешь воздухом, ветром, инеем... ты обмакиваешь перо в тушечницу из красного лака и выводешь, тщетно пытаешься превзойти Сей-Сенагон в стиле: “Самое главное не влюбиться, ведь если попадешься на удочку чувства, пиши пропало. Сана, впрочем, не задает лишних. Она всего лишь не знает, как дальше. Как и я. Как и я. Все просто”. В общем, сначала я выворачиваю Коломбине ручки. Слева на-

право. Рассс. Двассс. Потом ножки. Справа налево. Раз-и, два-и. Она стонет, хрипит, она, как всегда, бестактна: «А что, у тебе с о в с е м нет детей?» — «Нет. Они из меня не идут»: а все-таки хруст нежной ее шейки заставляет меня рыдать... Истерика, впрочем, минутная: ростовой куклой больше — ростовой куклой меньше. *Прощай, детка, детка, прощай, а на прощанье я налью тебе чай*...²»

«От персональных чудищ надо избавляться. Скелеты, прячущиеся в пропахших нафталином шкафах, убивают медленно, но верно — о, это чувство, этот толк, о, расстановочка эта! Вот и ты, и ты тоже, совершаешь кучу лишних движений с одной лишь целью — заглушить хруст костяшек зловонного трупа, ускоряющего процесс транспортировки владельца шкафа в морг: тысяча первая фирменная попытка не жить настоящим, эксклюзивные грабли, что там еще бывает?.. Впору заново учиться ходить, Плохиш... Периодически и я провожу *ревизию*: опс-топс-перевертопс! Великаны превращаются в лилипутов! Тают на глазах! Исчезают! Не волшебство ли?.. С каждой новой аннигиляцией я все отчетливей понимаю, что именно в непроявленности и заключена настоящая сила. Мощь желания, от которого ты сознательно отказываешься, переходит в тебя, одаряя если не неуязвимостью, то энной степенью осознанности. Но где же лазейка, а? Как не сорваться? Не растечься? Любовь, а не топор, — старинная русская головоломка, ja-ja! *Выход из Матрицы с противоположной стороны*: какой страшный... каменный какой голос... и какой знакомый... да это же Коломбина... чего ей теперь-то нужно? Кукла чертова...»

«Каждый ищет свой ответ на один и тот же, в сущности, вопрос. И хотя результат, по логике вещей, должен представлять собой некую неизменную цифру, акробатические решения этой безумной задачи всегда непредсказуемы: тысяча и одна безнадежная вариация на вечное *basso ostinato*!.. А мы ведь ничем, н и ч е м не отличаемся от других, Плохиш... сначала это знание ранит, потом к нему — *и к нему тоже* — привыкаешь. Старик Шоу называл любовь чем-то вроде грубого преувеличения различия между одним человеком и всеми остальными. Привыкаю. Смеюсь. Подписываюсь».

«НАД — вовсе не то, что ты думаешь: Эго, совершившее обряд инициации и обретшее свободу, эротично аннигилирует: растекаясь, исчезает в флюоритовой водосточной трубе, прячущейся слева

¹ «Череп — космический шлем скитальца» (Набоков).

² Майк Науменко.



под тем самым органом, которому врачи дали имя Сог, а поэты — Сердце. Забавно: вчера я почувствовала, что *мое* бьется с другой, с п р а в о й, стороны: Оно словно бы отзеркалило самое себя и, всхлипнув “на посошок”, растаяло... В амальгаме Лилит бьется фантом его, поэтому НАД — вовсе не то, что ты думаешь, когда бежишь призраков в иллюзорной неге! А я лечу: лечу в сторону ОТ... Вижу, как переливаются радужные наши тела и, обращенные в эфир, смиряются наконец-то с наличием в таком городе, как Москва, флюоритовой трубы, у которой лет триста назад мы и стрелялись...»

«Ты относишься ко Мне, как точка В, делящая отрезок АВЕ в среднем и крайнем отношении. Мы относимся друг к другу, как относится большая часть отрезка — АВ — к меньшей — ВЕ, то есть образуем золотое сечение, потому и похожи на спирально закручивающийся ураган, на колдовскую паутину, на стадо северных оленей, разбегающихся, опять же, по спирали... да что “Мы”! Две волшебные галактики — миры, живущие в равенстве бешеных Наших трений, — и те существуют в форме спирали... вот Ты касаешься нежной Моей раковины, подносишь ее к уху и слышишь, как — через сотни оболочек телесных — нашептываю Тебе Я древние Наши Скáзки; вот Я — на ином полушарии, в ином летосчислении, в другом пространстве — беру в руки терпкую Твою раковину и чувствую, как ливнем бгненным гóлос Твой проливается на корку сёрдца бездомного, ведь — теперь Ты все знаешь, — я отношусь к Тебе чертовски пропорционально ($AB/BE = AB/AE$), сандаловый Фидий труп души Моей: 0.618».

[грабли]

А потом наступает момент, когда Сана не испытывает больше потребности ни в прикосновении, ни в проникновении. Смотрю на него и не вижу, разводит руками она, слушаю и не слышу...¹ — от телесного этого онемения легко и хорошо (*Каждая женщина имеет право на менопаузу*: слоган, опять слоган), да и какая, в сущности, разница, какой у П. тембр голоса, запах кожи какой, форма ушей какая — или, там, дактилоскопический рисунок пальцев... Дутая, дутая уникальность: все начинается не с секса, а с желудка, усмехается Сана, глядя на поглощающего чизбургер П. (Как ты можешь есть э т о? — Легко), и за этим самым *дерьмовым сэндвичем* — незапланированное свидание (позитифф), впрочем, скоропостижное: извини, я тороплюсь (едва припудренный

минус), *но зато* мы пройдемся по бульвару (позитифф) — в упор не видит ее, Сану. Да что такое, черт возьми, любовь, думает Сана — ее любовь, — и чем она не является? Умеет ли она *любить* или эгоистично пытается преодолеть пресловутое чувство отделенности, неизбежно вызывающее тревогу, вырваться из капкана неприкаянности? Одиночества — да-да, пора назвать вещи своими именами, — наконец? Как освободиться, как достичь если уж не прачеловеческой — райской, доземной — гармонии, то хотя бы жить в ладу с собой и тем, что называется странным словечком м и р?

...и рождаемся не по своей: проблема лишь в том, что прекратить *это* (самое легкое, конечно, газ), существование *это* произвольно оборвать — заметить, я не говорю «жизнь», — духу не хватит: пойми, я хотела с л и т ь с я, о т д а т ь, и вот... Нет, по собственной, перебивает Полина, все мы здесь по собственной воле, каждый из: ты сама время и место выбрала, неча на зеркало — ну да, *сперматозоид*, как ты выражаешься, *добежал*, но для души каждое воплощение — бесценный шанс, шанс уникальный, и... О чем ты, теперь уже Сана перебивает, о чем ты! Что уникального в страдании, бесценного — в невозможности себя выразить? В нескончаемых «нет», расстреливающих тебя в упор, но всегда (крайняя степень садизма), всегда почему-то *не до конца*? С детства ты принужден быть в стаде, а если нет... если... Сана на миг отворачивается — не хватало еще расклеиться — и продолжает: что же касается П., то ты, конечно, будешь смеяться: «Я знаю весь любовный шепот, ах, наизусть...» — знакомо, не так ли? Проблемка лишь в том, что подопытному давным-давно не двадцать два... скажи, неужели *со мной* никогда не *случится* любви? Я не говорю о любви к Богу, к себе, к людям вообще... Я не говорю о любви «как в кино» — я, если ты заметила, еще в своем уме... Не заметила, качает головой Полина. Ни у кого не «случится» любви, пока он сам не начнет излучать ее: вырабатывать, синтезировать — как угодно. Сколько можно твердить: отпусти себя, перестань гонять одни и те же мысли — мысли, заметь, неправильные, неприятные... relax! Ослабь хватку, не муссируй тему — я не говорю «ампутируй», я говорю «не муссируй»; к тому же ты ничего не знаешь о любви — тебе лишь кажется, будто весь «любовный шепот» изучен. Дальше, дальше-то — что? По тексту², как и по жизни, — «сплошная грусть», а грусть и любовь несовместимы: взаимоисключающие понятия, слегка распаляется Полина. Да, каждый хочет с л и т ь с я, вопрос лишь в чистоте намерения и в том, нужно ли это слияние другому! Ты не даешь П. быть самим

¹ «Смотрю на него и не вижу, а потому называю его невидимым. Слушаю его и не слышу, а потому называю его неслышимым» («Дао дэ цзин»).

² М. Ц.: «Я знаю весь любовный шепот, ах, наизусть...»

собой (он тебе, впрочем, тоже) — фирменные грабли, из-за которых, собственно, рано или поздно все и расстанется... Я никогда, никогда ни к чему его не принуждала, пытается защититься Сана, но Полина усмехается: нет, принуждала, ты хотела, чтобы он бросил все ради тебя, наделала кучу предположений и, как следствие, ошибок, не видела ничего дальше собственного носа, а иногда — влагалища, пыталась с помощью секса избавиться от страхов... ты вообще хоть понимаешь, что *на самом деле* происходит? Окажись ты у меня на полгода позже, давно бы с инфарктом лежала. С инфарктом?.. Сана театрально хлопает ресницами, что на нее не похоже. Да у тебя здоровенный пробой в ауре, и та деформирована: энергия впустую утекает — ты вообще без сил, поле восстанавливать надо. Дышать правильно. Реагировать. Глупо ответ в уме искать — правильное-то решение всегда между «да» и «нет» будет. Логика не бинарна, пространство не трехмерно, время иллюзорно... что-то еще услышать хочешь? Пока не поверишь, что следствие раньше причины появиться может, не изменится ничего. А ведь абсолютно любой вопрос снять можно, если переживание единства с миром через себя пропустить: да не бойся ты «пафоса» — его, на самом-то деле, и нет вовсе... Любые отношения есть отработка: с раем земных наслаждений, догадаться несложно, общего мало. Дружба, как и то, что любовью называют, — та же привязка: люди эгрегорно совпадают и потому друг друга усиливают... А чтобы в себя по-настоящему новое впустить, войти ему позволить, нужно — дважды два, Сана, дважды два! — хлам вычистить. «Формулу» света звездного как передаточной частоты любви — вычислить: тогда и почувствуешь (понять невозможно), что жизнь не бессмысленна. А смысл — можно назвать его, если тебе так проще, и сутью эволюции — в отработке страстей и в обретении гармонии: все, нет ничего больше! И выход есть... тело-то наше полями окружено силовыми. Концентрическими. Ну, матрицей энергетической: и так и сяк сказать можно. У каждого поля частота своя, цвет свой, запах... В частотах космических волшебства нет никакого: обычные структуры пространственно-волновые — зная же, как к ним подключиться, волшебные вещи делать можно... Практика жестковата, но если все блоки проработаешь, тело энергетическое почти безграничным станет... У каждого существа свой уровень частотный, конечно, но ты ведь сама изменить — повысить! — частоту вибрации в состоянии... Знаешь, какими люди *п о т о м* будут? Полина прищуривается: одна раса, одна вера — и всё. И всё? — недоверчиво переспрашивает эхо Саны, а сама она вдруг взвизгивает: *но все равно, все равно* несправедливо! Мне никто никогда не говорил

ничего подобного, я и представить не могла, будто мне не принадлежат даже мысли — единственное, что казалось безоговорочно моим! И я не знала, понятия не имела, как «правильно»! Про «отражения» не знала! Что мысль материальна *настолько* — не знала!.. Ты сама себя в клетку посадила, отмахивается Полина, само понятие любви извращено: желание *обезопасить себя* за счет другого — первая пошлость, на которой ваш «институт брака» держится. К тому же большинство на уровне первой и второй чакр «любит», а чувства обладания и принадлежности так перекручены, что палач и жертва едва отличимы... Дважды два, Сана, дважды два: невозможно любить и бояться. Все, абсолютно все слезы и сопли неразделенного чувства, — оплакивание своего убогого «я». Мелкого, ничтожного — и, разумеется, «недооцененного» — эго... Но разве не глупо жалеть себя из-за того, что тебя не любят или любят «недостаточно»?.. Зависеть от *представлений о тебе* другого человека?.. Вот э т о — не страшно разве?.. Как только остановишь монолог внутренний, желать и искать перестанешь, так страдание и уйдет... Отдай возлюбленным лучшее, а взамен ничего не требуй: у безусловного чувства мотива нет, зато кое-что другое имеется — страсть: настоящая, вожделием не подкрашенная — ты обладать-то не мечтаешь, найти-то не стремишься... Мощь такого чувства фантастична и потому большинству из тех, кого ты — опять, кстати, Анахату передала... — *добежавшими сперматозоидами* называешь, недоступна.

Сканер, думает Сана, глядя в глаза Полины. Считывающее устройство вместо зрачка.

Лимузин доставит вас к роскошным дверям под стеклянный купол отеля... Сана хочет сбежать: Сана не в состоянии слушать все эти «правильные» слова, которые, как ей поначалу кажется, к ее-то чувству уж точно отношения не имеют — но это только поначалу: кунштюк-с. *Лифт вознесет вас на тридцать первый этаж...* А действительно: умеет ли она любить — любить не раздражаясь, не ревнуя, не осуждая, не сравнивая, не испытывая зависимости и не вызывая ее? Почему всегда негласно требует, вместо того чтобы отдавать?.. *С помощью целой гаммы оттенков вкуса и аромата шоколад, приготовленный по индивидуальному заказу, раскроет характер невесты и подчеркнет ее индивидуальность...* А в проклятом буржуинстве один мужичонка вот расчленил да и съел другого, все «по обоюдному» — вскоре и сайтик для людоедов латентных и тех, кто съеденным быть желает, открылся: наверное, это и есть «высшее проявление любви» — раствориться в желудке возлюбленного и — дастиш фантастиш, — облизывая его *gestum*, почтить в царстве городской



канализации, откуда, вероятно, вытекает и мода на интимную пластику... Услуги по изменению формы половых губ, переводит Сана, восстановлению плывы, процедура увеличения «точки G» — количество операций на влагалище перевалило в Штатах за тысячу: два с половиной миллиона долларов в год «ради любви». Оживите ваши чувства!.. Ботокс для полноценной романтики!.. Эксклюзивный лифтинг, универсальная подтяжка самых нежных и хрупких эмоций!.. Мы готовы удовлетворить любые потребности и пожелания самых взыскательных клиентов — силикон не стареет: получите скидку 200 евро при покупке love-ботокса на сумму от 900 евро!.. Вы обязательно найдете у нас то, о чем давно мечтали, — мы покажем вам, что такое королевское обслуживание!.. Особенно растрогали наших клиентов по приезду в клинику белые тапочки с их именами, говорит и показывает Земля.

И опять Сана едва не выбежала из Полининого дома — она никак не могла смириться с мыслью, свыкнуться с тем, будто все, что ее окружает, — пресловутое отражение ее же мыслей: нет-нет, нет!.. Всего лишь через год Сана вспомнит тот вечер со смутной, еле уловимой, улыбкой, ну а пока она сомневается, и сомневается сильно: с какой стати верить Полине, пусть та и читает ее мысли? Верить лишь потому, что она видит *нечто*, недоступное Санину восприятию? Да нужно ли меняться н а с т о л ь к о? Какая у нее, Саны, цель? Не сыта ли по горло?.. Зачем вползать в эти дебри? Может, у нее уже циклотимия?.. Все чаще хочется лежать, тупо уткнувшись носом в диван, — и никаких, никаких телодвижений! Да и кому теперь нужно это тело, думала Сана, не понимая, насколько оно гармонично, — клетчатая пижама с глухим воротом, смахивающая больше на арестантскую робу, надежно скрывала его от чужих глаз, а родных не было.

Она нехорошо усмехнулась, вспомнив о шкалах: привет любимому институту!.. Вот здесь — не пропустите — тревога, там — невротическая депрессия, тут — астения и истерический тип реагирования, нашлось местечко и для обсессивно-фобических расстройств, и для вегетативных нарушений... как учили, на любой вкус и фасон! З а ч е т по психиатрии — вот и вся флора-фауна чувства, вот вам, господин хороший Фромм, и *искусство любить*...¹ Прожорливая гидра рефлексии, казалось, вот-вот поглотит Сану. Последнее время она замечала, что голубое полотно словно бы затягивается панцирными сетками (проверь тягу два раза = проверь качество родителей в момент зачатия): она терла глаза, пытаясь стряхнуть уродливую картинку, и поначалу

видела вроде бы то же, что и все, — однако уже через мгновение лоскут с облаками декорировался скрипучим ложем, которое и спровоцировало некогда слияние той самой яйцеклетки с тем самым сперматозоидом, в общем, *даешь зиготу*.

От эйфории до комы всего несколько шагов, как учили-с: шумливость, болтливость, упадок сил, тошнота, — а там уж и пот холодный, и хрипы — *Domini vobiscum, amen*², — гиповентиляция, кома, 3 г/л этанола в крови, что и требовалось доказать — сны, сны! — от «я столько не выпью» до «как жаль, что я столько не выпью».

[привет от Сюзан Гиверц]

Она не может больше думать. Она хочет осязать. Ощущать. Слышать. Наслаждаться каждой отмеренной секундой. Лелеять тело: легко, прихотливо, ветрено.

На омертвелую ткань чувства, превратившего жизнь Саны едва ли не в синопсис для паршивенькой мелодрамы, впору вешать табличку *gangraina*³ и, если антибиотики и переливание крови не помогают, ампутировать: как учили-с. Нет-нет, она не стремится к идеальной (ли?) «безусловности»: нет-нет, она не готова *отдавать лучшее*, получая взамен сухие выстрелы пустоты: нет-нет, она не святая, к тому же игра в одни ворота не столь жестока, сколь бездарна: нет-нет, Сана не шевельнет больше и пальцем: нет-нет, конечно же.

Нет-нет?..

Она перечитывает «Возможность острова» и подписывается под «смертельным приговором», который вынес человечеству гениальный француз⁴, как подписывается и под фразой «этой планете я поставил бы ноль»: фамилии автора Сана не помнит, но что с того? Вот если б можно было разделить на ноль П.! Он преследует во сне, не дает покоя и наяву — да он ни черта, в сущности, не понимает... Что ж, зато Сана кое-что смыслит в тривиальном словечке «двуличие». *Плохиш* — *ящик Пандоры*, решает она, и потихоньку, слой за слоем, отколупывает кровяную корку с едва успевшей затянуться раны — шкурка, хоть и тонка, сдирается достаточно быстро: и все б ничего, кабы не адская (который, любопытно, круг?) боль — Сана все еще помнит, как взяла однажды продолговатую льдинку да и посмотрела сквозь нее в небо: солнечный луч танцевал тут же, в сверкающем центре, — тогда-то и увидела настоящие глаза П.: два прозрачных ледяных солнца, не-

² Господь с вами, аминь (лат.).

³ Гангрена (греч.).

⁴ М. Уэльбек.

¹ Эрих Фромм, «Искусство любить».

бесный яд голубики, убийственное сияние неживой, инопланетной, бирюзы.

Не надо, не надо, конечно, было идти на эту его выставку... Расстались гордо мы¹, как по нотам, оппаньки, обрыв связи! Но как, как не пойти? Вот пригласительный, в кармане... Бумажка, благодаря которой можно *последний раз* обнять П. зрочками, а потому — прохладный зал, обескураживающий избытком пространства, зал, в котором они, два стильных пингвина (на Сана черная рубашка с воротником-стойкой и белые джинсы, на П. — черные джинсы и белый свитер), словно бы сговорившиеся отработать смертельный номер, картинно кивнут друг другу и разойдутся. Новые работы П. вызывают у Саны недоумение, смешанное, чего никогда раньше не случалось, с раздражением: что-то не так в них, что-то зловещее сквозит, и даже ее собственное изображение — «спина, улучшенная с помощью фильтра», как припечатал он когда-то (эффект, имитирующий зернистую черно-белую пленку), — не повод для того, чтобы задерживаться. Дипломатично выждав время, Сана выходит из зала: рукопожатие прожигает — как затушить пожар с кулачок? Площадь возгорания, впрочем, не принципиальна — сердце ведь тоже, тоже с кулачок: что с него взять.

Она выходит на улицу: роскошь беспамятства — вот, собственно, и вся грустная надоба, а еще... ЕЙ ПЛОХО! ...если освежить в памяти опыт индейцев Тихоокеанского побережья... ЧТО С НЕЙ? ... как, скажем, сделала это некая Сьюзан Гиверц... ЕЙ ПЛОХО! ...ну то есть если б Сана исполняла роль *зависимой*, то с помощью *терапевта* непременно лепила бы уже здоровенную глиняную статую... ЕЙ ПЛОХО, ПЛОХО!.. затем отламывала бы фигурке руки... ПЛОХО!.. нос... ПЛОХО!.. голову... ПЛОХО!.. penis... ПУЛЬС ПРОВЕРЯЛИ?.. а потом несла бы к обрыву и, произнося заклинание, сбрасывала вниз: частями... ДЫШИТ!.. так любовь, если верить г-же Гиверц, становится неприязнью... ДА ВЫЗОВИТЕ СКОРУЮ!.. над белоснежным песком — черное небо, в и д и т Сана: оказывается, мир и пингвин — синонимы, и как это ей раньше в голову не пришло?.. СКОРУЮ, СКОРУЮ!.. конечно, г-жа Гиверц назвала бы ее чувство «эмоциональной сверхзависимостью», «сверхценной фиксацией», «компульсивным влечением», «романтическим безумием», «грубым отклонением», «сексуальной девиацией»... ЕСТЬ ТУТ ВРАЧ?.. Сана захлопывается, будто музыкальная шкатулка: в ней ломается некий механизм, отвечающий за воспроизведение мелодии и волшебное появление балерины на перламутровой крышке... К р ы ш к а, меж тем, л е ч и т с я — арсе-

нал средств впечатляет: психо- и трансактный анализ, загибает пальцы Кукловод, гештальт-терапия, НЛП, пневмокатарсис, ребефинг... ГЛАЗА ОТКРЫЛА!.. техника гипнотического отрыва, продолжает он, творит чудеса: через несколько сеансов безумная начинает воспринимать обожаемый образ как образ человека из далекого прошлого... А ГЛАЗА-ТО ЗЕЛЕННЫЕ!.. Барби любила Кена, Кен не любил Барби... Я ТЕБЯ ПОДВЕЗУ!.. Кто-то ищет работу, кто-то хочет заботу. При поступлении в стационар иметь предметы туалета (мыло, з/щетку и пасту, расческу, бритву и тэ дэ), домашние тапочки. Рыла свинья-белорыла, тупорыла, полдвора рылом изрыла, вырыла, подрыла. ГДЕ ТЫ ЖИВЕШЬ?.. Джип несет Сану по воздуху — или кажется? «На свете есть только две вещи, ради которых стоит жить»², говорит Волчица и включает музыку. Какие же? Сана разглядывает ее: серебристая шкурка, прозрачные, асфальтового цвета, глаза... «Любовь к красивым девушкам, какова бы она ни была, да новоорлеанский джаз или Дюк Эллингтон»³. Да ну, усмеяется Сана, ты в восторге от «Пены дней»? Я в восторге от фразы — на светофоре она достает из рюкзака томик Виана — «Всему остальному лучше было бы просто исчезнуть с лица земли, потому что все остальное — одно уродство»⁴. Машинка-машинка, убей меня нежно, думает Сана, только этого не хватало!..

[моно]

«Она технично двигает табуретку к подоконнику и, подначивая, хихикает: “Ну давай, давай же!” Помогает подняться. Ничего не вижу: голова кружится от ее крика, очертания домов и людей расплываются... мне страшно, я боюсь ее, мне некуда деться: мне семь, Сана, мне семь лет, у меня наивные глазки и руки в цыпках, я не хочу жить».

Не обидится на В о л ч и ц у, проглотит ли? Сана кажется, что седая девочка, сидящая напротив, и впрямь может сменить кожу на серебристый мех. Волчица смеется: легко, тогда я буду называть тебя Little. Почему Little? Потому что ты маленькая... Я?.. Волчица цедит коньяк: на дне бокала — лодка, в лодке — пробоина. «Вода прибывает — грязная, мутная, такая же страшная, как и мать: да она сама эта вода и есть! Она хочет утопить меня, утопить в себе, а потом кататься на лодке с мужиками: у нее всегда было много мужиков, она всегда этим гордилась, всегда!..» Волчица трет виски. Ей нравятся го-

² Борис Виан, «Пена дней».

³ Там же.

⁴ Там же.

¹ Одноименный романс Даргомыжского.



лос и руки Саны. Голые руки и голый, без макияжа, голос: ей всё ее — нравится, кроме, разве, глухого *нет*: «Только потому, что имя оканчивается на гласную?» — немой вопрос, застывший в зрачках.

Волчица осторожно касается лапой шеи Саны: Сану бьет током.

«Про интернат — не хочу: забыть, все забыть... И все-таки там лучше было, да, лучше, чем дома — я ведь боялась, что мать забудет до смерти, забудет от скуки... Иногда кажется, будто я до сих пор боюсь ее, а иногда... Представь: вот я подхожу... да, вот подхожу... подхожу к ней... Она трясется от страха: заламывает руки, смешно пятится... Я прижимаю ее голову коленкой к стене и протыкаю горло отверткой. Темная жидкость капает на пол. У гадины закатываются глаза: я не хочу, не хочу просыпаться... Тебе интересно и ли?..» Сана тупо кивает: и ли повисает в воздухе, а вскоре и вовсе исчезает. Она с любопытством разглядывает существо, маскирующее под радужкой чип с застывшей в нем навсегда голограммой: грязно-желтая дверь с глазком-кормушкой, абсолютно пустая, голая камера, обшарпанный деревянный пол, танцующая в волчьем логове кукольная Гавана.

Год тысяча девятьсот шестьдесят четвертый: «Куба + СССР = love» — так красавец Хильберто попадает в стольную, где *devochki* любят иностранцев, так его сперматозоид сливается с яйцеклеткой *russian woman*, знающей о чистке *in vivo* не понаслышке и потому выпускающей на волю плод больного своего воображения: «Рождаемость в Москве растет, а это значит, что на улицах столицы все больше детского смеха!» — скандируют СМИ. Сана видит, как скалит Волчица зубы, как стучит по полу хвостом, как поджимает уши...

Их разделяет лишь тончайшая пленка, сквозь которую можно разглядеть контуры темно-серых цементных стен да маленькое окошко с пыльной решеткой.

«Сдала подруга, — лает Волчица, — а упекла мамаша: в восьмидесятые за мокруху отсидеть легче было, чем по 209-й моей...¹ Я и правда не числилась нигде — складывалось так... сейчас-то полстраны безработных, и ничего, а тогда — тунеядство? Тут мамашин звездный час и пробил: подсуетилась, дело мне, как “паразитирующему элементу”, сшили быстренько... Я после школы-то вне социума долго

жила: все любовь назад возвращала — ту самую, в детстве недоданную... Необычно, да, необычно и трогательно: и не важно, несколько часов ты без страха живешь или несколько суток; главное, какое-то время ты — вот так, просто — не боишься ничего... У них-то у всех мужья-дети, конечно, но разве это что-то меняет? Как поймешь, чего на самом деле хочешь, так путь назад и отрежешь... Истинное лицо-то свое многих поначалу пугало: кое-кто и в обкомах заседал. Барыньки холеные были, что говорить: хлеб — и тот в «Березке» покупали... *по-своему* несчастные: заборы дачные — выше неба, проволока колючая... Я деньги никогда не брала. Что-то другое — да, но вот конвертика — нет, не было... Любили они меня, все до единой — как могли, так и любили: “*Ti amo moltissimo...*”² — на ушко: знали, что итальянский сама учила, больно язык нежный... Ну а потом — скоренько так — в бокс запихнули: и пикнуть не успела. Тесный-претесный, в стенах скамейки без ножек — и зачем потолки высоченные, думала, чтоб размазывало тебя сильнее, что ли?..»

«Нас всех из воронка-то как вывели, так сразу на лестнице и построили — ну а потом по проходам³ погнали: страшные они, длиннющие... Долго шли, и вдруг крик: “Стоять!” — опись имущества. Догола раздели; золото, у кого было, сняли... Шоколад тоже забрали: “Не положено”. Ну и обыск по всем частям тела: все резинки общупали, — а ноги я раздвигать отказалась: *тогда приседай*, говорят. Присела... Потом шмотки вернули, матрас с подушкой кинули, кружку с ложкой... 116-я камера, общаковская: хуже, чем в КПЗ, — по размеру квадратов пятнадцать, нары двухъярусные из досок, параша справа открытая, слева — стол небольшой, пара скамеек... шестьдесят баб. Меня-то когда привели, все нары уж заняты были — на полу легла: холодно, страшно... Слава богу, девочка там одна была, худенькая такая, смазливая: всю ночь грелись — не так жутко вдвоем-то... Я ведь на самом деле не понимала, где нахожусь, что не понарошку все это — честно, не понимала! Четверо суток как в тумане. Бутырка... навряд ли приемного покоя больничного тюрма эта; за наркоту с бандитизмом туда все больше — на Новослободке, домами со всех сторон закрыта, ты не знаешь небось... Я-то с “елисеевцами” сидела: дело на них в восемьдесят втором завели — 154-ю и 156-ю шили⁴, ну а срокá... срокá жуткие: от десяти-пятнадцати до вышка светило; не простые это уголовницы... Пом-

¹ Ст. 209 УК РСФСР — «Занятие бродяжничеством или попрошайничеством либо ведение иного паразитического образа жизни»; статья 209-1 («Тунеядство») была исключена из Кодекса в августе 1975-го.

² «Я так люблю тебя...» (итал.).

³ Продол — тюремный коридор.

⁴ 154-я ст. УК РСФСР — «Спекуляция», 156-я ст. — «Обман потребителей».

ню, одно чувство у меня было — непричастности. Не просто к самому факту жизни, а к жизни вообще».

«*Фамилия, имя, отчество, срок, статья... Через час быть готовыми...* Через два разводят постатейно. На мне телогрейка и кирза — валенок не дают, даже в тридцатиградусные на зоне в кирзе ходили: вот и ревматизм. Ладно... Вывели нас, в воронок запихали — беспредел полный! Кто выступал — в “стакан” засунули: что-то типа клозета общественного, хуже только — зацепиться-то не за что, одни только стены железные в машинке той... а везли на запасной к Казанскому до-олго! Из воронка по одной выводили; между вагоном и — ха, а в т о — охрана с овчарками. Столыпинский — он почти как товарный с виду, только с одной стороны окна с решеткой, белой краской замалеванные, а с другой — сплошная решетка на весь вагон... Сутки по этапу везли: может, чуть больше, может, меньше, — а все равно казалось: вечность. На те сутки — на вечность ту — сто грамм хлеба да килька соленая; воды не дали — специально, что ли... А туалет сколько не открывали, один бог знает: охранник со швалью какой-то спал — в тамбур пакеты с мочой летели... Мы, пока ехали, с узкоглазыми этими скандалили страшно: да разве нормальный на работку пойдет на такую? Бог с ними... Не они страшны-то: пространство замкнутое. Безвыходность душеньку вдоль и поперек выела, да что выела — отбульдозерила! Говорят так — “отбульдозерила”, не знаешь?.. А говорили мы, кстати, мало — да и что скажешь: той жизни уже нет, этой — еще... Шок: парализующий, жесткий, необъяснимый... по живой жиле шов безнаркозный... Помню, свитер своей женщине отдала какой-то — окоченела она совсем: много мы с ней километров-то в обнимку проехали — молча, будто языки проглотили. А в голове: *жизнь кончилась, я никому не нужна, умрешь — и не узнает никто...* “Окно открой!” — я и узкоглазому-то крикнула, только б тишину сломать, а он: “Ни паложина”, — и шаги, шаги удаляющиеся. — “Открой! Жалко, что ли? — мне девятнадцать, Сана, еще неделю назад я была, смешно сказать, москвичкой. — Открой, задохнуться можно!” — а сама глазами бурлаю: сломался чурка: “Только ни долги”.

Несколько сантиметров свободы. Снег: нежней шелка, вот уж точно. Никогда такого не видела больше, нигде».

«Ну а потом — Мордовия, и все в обратном порядке: воронок, пересыльная в Потьме, “кукушка” столыпинская: четыре вагончика всего... Всего! Когда на зону-то привезли, я головой о стенку ударилась... До крови — все почувствовать хотела, не сон ли, на самом ли деле... Не верила долго очень, все в

голове-то не укладывалось... Уложилось, когда без лица из “кукушки” вышла, когда с бабами, шмотье тощее волочащими, до пересыльной шлепала да мамашу с еб...м ее представляла... Нас вообще-то везти должны были, но вместо машины охрану прислали *с собачками*: до сих пор как овчарку увижу, бежать хочется — сколько лет, а не заживает! Так, затягивается, но чуть ковырнешь, и по новой все... Осень стояла ранняя, да, у нас-то тепло, а там — снег с дождем, ветрище промозглый: холодно жутко — нет, не так: ж у т к о... Да еще рожи эти мордовские выставились — смотрят на нас, как на зверей в цирке... широка страна моя родная! И дерьмо в ней... дерьмо широкое. Лет пять потом, как срок отмотала, по деревням маялась: Тульская, Орловская, Владимирская... Коровники чистила, свинарники — прописку еле вернула московскую (спасибо “сестрам”, мамашу-то припугнули...). И вот же оно как все: людики добрые если о прошлом моем проводывали, так сразу, в двадцать четыре, с работки и вышвыривали: “Нам такие не нужны!” Ни на стройке не нужны, ни на дороге железной, ни в инфекции — из реанимации и то погнали, когда в город выбралась, хотя санитарок днем с огнем не найти было: кто ж по собственной воле заразных-то чистить станет?.. Тогда и дошло, что звери добрей людей-то. Понимать стала, что теленок говорит или, там, лошадь: они ведь и любить и жалеть умеют... А мы... да что там! Помост помню: высоченный, перегородками разделен металлическими... на него из стойла сгоняют. А как всех сгонят, так сразу меж глаз целятся — оглушают, значит. Ну, потом стенки-то загонные приподнимут — животинка и скатится. Ей, бедняге, по-быстрому сухожилие коленное перехватывают и вверх тянут: на полу одна голова болтается... Вот от. А потом — ток. Провод в голову — в то самое место, куда стреляли — в ту самую дырку: хоть третьим глазом назови, хоть как... Туда, в месиво это, чтоб связи между мозгом спинным и черепным не осталось: просветили люди добрые, что к чему... Корова одна, помню, брыкалась все... Теленок в кишках у ней запутался: ну а как кончилась, ее цепной пилой вдоль позвоночника и распилили...»

.....
Волчье логово скорей уютно, чем не — наверное, здесь и впрямь хорошо зализывать выпадающие наружу кишки, думает, а потом перестает, Сана. И рада б уйти, да поздно: слова тягучие, длинные... и почему люди не говорят, как киты — один звук на тридцать километров?.. Она остается, а утром обнаруживает рядом с собой Волчицу и трет виски: впопору спросить — верх пошлости, *pit' men'she nado*, — *было ли у нас что-нибудь*. Волчица оседает, ее шерсть момен-



тально тускнеет: что такое б ы л о? что такое у н а с? где искать это ч т о - н и б у д ь?.. Сухой щелчок входной двери. Волчий вой.

Улочки-переулочки, Волчица — следом: Сана выдергивает ладонь из ее лап — о, как легко сейчас снять с нее шкурку, растоптать! О, этот серебристый волшебный мех, эта потрясающая, едва ли не фосфоресцирующая, безоружность — и абсолютная, несмотря на наличие когтей и зубов, беззащитность!.. Нет-нет, унижение Волчицы станет лишь унижением Саны: нет-нет, качает головой она, пусть *Lame* на *pas de sexe*¹, но «секс возможен только между товарищами по партии, всякий иной секс аморален»².

«Что тебе нужно?» — спросит Сана перед тем, как исчезнуть. «Любовь, — облизнется зверюга. — Разве нужно что-то еще?..»

[сердце справа]

Сана шла и думала, что если не найдет сейчас, сию же минуту, противоядия, черная дыра этого дня непременно ее поглотит. Куда теперь идти? Зачем? Говорить на общие темы она давно не может, бесцельно бродить по улицам не видит смысла — нигде, нигде нет этого чертова смысла!.. Она долго пила в «Апшу» зеленый чай, листала книги, названий которых никогда не вспомнит, а когда уже потеряла счет времени, что-то вывело ее из ступора: Сана накинула пальто и поспешила на улицу — такси-такси...

Она вышла на Таганке, чтобы купить розы: розовую, бордовую и снова: розовую, — а как только цветы оказались в руках, ноги сами понесли по Большой Андроньевской: вниз, вниз... Сколько раз встречались они тут с П., сколько раз, думала Сана, с трудом обнуляя вспышки воспоминаний, — так и дошла до Покровского, так и перекрестилась: «О блаженная мати Матроно...» — прочитала на обороте иконки, купленной в монастырской лавке, и, уткнувшись в розы, сбилась: нет-нет, как-то иначе надо, не так, совсем не так... Если здесь и впрямь святая, она услышит, обязательно услышит: но о чем просить — да и просить ли?..

Она примкнула к очереди: спешивших приложиться к мощам оказалось предостаточно — у живого хвоста, как показалось Сане издали, не было ни конца ни края. Толстуха, стоявшая впереди — плохая копия Сарагины³, — доказывала что-то мужеподобному существу, сокрушенно качавшему го-

ловой («Да чтоб я еще... ты всю жизнь, всю жизнь мне...»), сзади щебетали пригламуренные барышни («А я ему...» — «А он? Он — что?..»). Сана пожалела о забытом у Волчицы плеере, а через некоторое время поймала себя на мысли, что не замечает всех этих людей — их словно бы онемечили, выключили, превратили в ростовых кукол. Она забылась и сама не заметила, как, отстояв битый час (почему б и т ы й, мелькнуло), вошла в храм. Ей никогда не нравился ни запах ладана, ни потрескивание свечей, ни, разумеется, нарочито строгие, будто восковые, лица вечно скорбных и злых старух, но пространство, в которое она попала *сейчас*, казалось живым и даже каким-то легким. Когда же Сана подошла к раке и коснулась стекла, отделявшего ее от святых мощей — коснулась и поцеловала безо всякой брезгливости, что показалось ей странным, — когда не расслышала охранника («Быстррей, пжалст»), то почувствовала вдруг странное облегчение, а, отойдя, спохватилась: она ведь з а б ы л а, забыла попросить... Что ж, заново теперь? Дура, дура!.. Сана посмотрела еще раз на раку и вдруг поняла, что неслезанное — услышано, а формулировка и вовсе не обязательна: послав Матроне воздушный поцелуй, она взяла несколько освященных розовых бутонов и вышла.

Много позже, когда Сана окажется в Дивеевском монастыре и послушницы попросят ее, одну из немногих, помочь — разложить перед службой недогоревшие свечи в деревянные ящички (любой огарок — просьба, обращенная к Нему), — она почувствует вибрации каждого человека, ставившего их когда-то, и пальцы задрожат скорее от любопытства, нежели волнения: сколько живых душ умещается у нее на ладонях, подумать только! Сколько душ...

На время отпустило — ну то есть наяву отпустило: П. по-прежнему снился, и Сана не знала, ждет ли этих снов, сторонится ли. Он приходил поначалу с Хатшепсут, а потом и с Коломбиной: заводная кукла с блестящими черными волосами и такими же, как у него, бирюзовыми глазищами, улыбалась ей и, облизывая губы, манила фарфоровым пальчиком... Сердце справа, усмехалась Коломбина, касаясь правой груди, а сердце-то у тебя теперь справа, вторила Хатшепсут, касаясь левой. Никогда не плакала Сана так горько: ни на похоронах отца, ни когда впервые выходила из вивария, ни после того даже, как оболочку ее взломали — *имеются ли на теле, одежде подозреваемого следы крови, волос, вагинальное содержание*, — и Сана долго, несколько недель, лежала — *имеются ли в половых путях, в области прямой кишки, на теле, одежде следы крови и спермы*, — медитативно изучая рисунок

¹ Любовь не имеет пола.

² А. Коллонтай.

³ Проститутка из феллиниевского фильма «Восемь с половиной».

обоев — *имеются ли признаки, указывающие на совершение полового акта в извращенной форме...* Лед легче жидкой воды, только и шептала — *...нарушена ли у потерпевшей девственная плева (мужским половым членом, пальцем, каким-либо предметом), — лед легче цоканья каблуков по асфальту, лед легче рук, скручивающих тело — допускает ли строение девственной плевы потерпевшей совершение полового сношения без ее нарушения, — легче рваных шелковых юбок, лед легче легкого: всю жизнь и еще пять минут — лед, один лишь лед! И даже в Стране кофе-шопов, куда удрала она жизнь, как ей казалось, спустя — «Марихуана, мадам?» — лед, лед, а потом — страх, дикий страх остаться там, в Стране этой, навсегда: «Ну вот, а ты говоришь, “не берет”!» — воздуха, да дайте же, черт дери, воздуха!.. О, раз в жизни стоит накушаться травки, дабы понять, что человек, отсутствие которого приносит тебе вполне осязаемую физическую боль, боль на уровне горла (все обиды на Вишудхе, скажет потом Полина, вот из ангин и не вылезает), — не более чем образ... А ведь она из-за П. и город-то толком не рассмотрела — впрочем, в пять уже темнеет: Сана близоруко щурится, глядя на каналы, приглашающие ее *в случае чего прыгнуть*: в Стране кофе-шопов нет ничего невозможного, в Стране кофе-шопов она встретила наконец со своим доктором Джекилом и мистером Хайдом — ну, милый, здравствуй!.. Не знаешь, часом, что я здесь делаю?.. О, если б можно было перенестись *в тот* летний вечер, когда они с П. сидели в самой обыкновенной «Шоколаднице» — свеча горела на столе, свеча горела, и к черту Мертваго¹ — *я знаю весь любовный шепот, ах, наизусть*: от двадцати² до ста пятидесяти децибел, от двадцати — до пражика дурной его бесконечности, *mersi*.*

Мне не больно, солжет Сана и не сразу заметит, что П. давно целует ей руки: из-под пригорка, из-под подвыподверта зайчик с приподвыподвертом переподвыподвернулся.

[in vivo forever]

Вот она, неведомая вибрация, переход на новую частоту, которая если и не сделает тебя «тотально счастливым» (жизнерадостным кретином, горько усмехнется Сана), то даст, в любом случае, некий опыт — новый опыт *in vivo*, всегда *in vivo*: еще один.

...Сначала пошли руки — они двигались помимо воли и жили своей, абсолютно автономной, жиз-

нью: вверх-вниз, вверх-вниз, *ух ты*, вверх-вниз — циркули, рисующие идеальной формы круги, *ух ты, ух ты...* А вот и ежик, *ее*, Санин, ежик в тумане, ласкающий шелковыми своими иглами нежные ее ладони, хрупкие запястья, подрагивающие кончики пальцев: *ух ты...* Потом неожиданно толкнули в спину: какая-то сила, не плохая и не хорошая, отбросила на метр: стало страшно, а потом вдруг — *ух ты* — легко... Горячая волна вошла в тело, захватила, затопила каждый его мускул, орган, клетку; казалось, на всем свете не существует ничего, кроме *этого* (кого? чего?): играющего с ней? излечивающего ее? Если б знать!.. Вскоре движения изменились, став более резкими, угловатыми — «пошли» локти, колени, туловище; комок в горле начал подтаивать — ледяной водопад во рту, плавающие льдинки и льдины, глыбы льда...

Выдернутая из мощного потока, она не сразу вспомнила, где находится и что с ней происходит. «Жива?» — голос откуда-то снизу: кто это, почему ей мешают?.. Сана долго не отвечает, а потом медленно, почти по слогам, произносит: «Так не бы-ва-ет», но именно так — было: частоты, которые открывала на нее Полина, переносили в иную реальность, где все, начиная с цвета и запаха, было другим, не таким, как здесь. Ох и бедным казалось ей теперь собственное «трехмерное» восприятие! Мир словно бы раздвоился, раскололся на ДО и ПОСЛЕ, хотя она, разумеется, знала, сколь глупо ставить разделительные полосы: поток-то един...

Иногда Сана чувствовала, будто за спиной у нее кто-то стоит, будто чьи-то невидимые пальцы касаются плеч, а однажды показалось, что этот «кто-то» взял зажженную свечу да и обжег ей пламенем губы... Сана тихонько вскрикнула, но не решилась открыть глаза — лишь задышала еще глубже, еще чаще: каждый выдох сопровождался отчетливым осознанием того, что она сбрасывает с шеи — петлю за петлей — клейкие нити; и было по-прежнему то страшно, то сладко, и то горячие волны ласкали хрупкое ее тело, то острые кюретки выскребали из нежной матки уродцев, походивших скорее на эмбрионы фонем, нежели двуногих...

С каких лет Сана помнит себя? В четыре года она сказала отцу, будто ей сорок (первое воспоминание), но что до этого? Почему большая часть жизни прошла как в тумане — *почему никто ничего не помнит, и она тоже?* Не помнит, если разобраться, даже недавних событий?.. Спроси о том у Полины, и услышишь, конечно, про вспышки моментов осознанности — только они и есть реальность, напомним она давно известное; «все остальное время не живешь — все остальное время спишь»... Если восстановить цепочку, составить список людей и событий, пусть даже

¹ Набоков о «Докторе Живаго».

² 20 децибел — шепот, 50 — громкость речи, 80 — крик, 130 — громкость звука, вызывающая болевые ощущения.



на связанную с перепросмотром¹ «реанимацию» всех лиц и деталей, уйдет несколько лет (какая, в сущности, разница, если полжизни ты спешил и опаздывал не к тем и не туда?), есть шанс, что рано или поздно ответ придет.

Ей четыре, помнит она. Четыре года. Темно-синее пальто, мохеровая шапочка-буратинка. Туго завязанные атласные ленточки нежно-голубого цвета впиваются в шею. Солнце слепит глаза: Сана смотрит под ноги — песок? снег? «Мне сорок лет!» — хнычет она. «Тебе четыре, четыре, — смеется отец, — тебе четыре года!» — «Нет, мне сорок, сорок!» — «Четыре!» — «Сорок!» — «Четыре!» — «Сорок!» — «Четыре!..»

Руки идут сначала в стороны, затем вверх. Сана стоит в центре комнаты, окруженная разноцветными свечами, — стоит, зная, что Полина сканирует каждую ее мысль. Поначалу не по себе: «моя индивидуальность», «мой внутренний мир», «мое право на неприкосновенность частной жизни»... Бунт «я», бессмысленный и беспощадный, и — нескончаемая, тщательно замаскированная, жалость к себе: всегда, во всем, везде — знакомьтесь, маска! Презрения. Негодования. Отторжения. Маска неприятия. Злости. Агрессии. Маска осуждения. Усталости. Раздражения. Маска боли. Ненависти. Вины. Маска отчаяния. Желания. Долга. Чокнувшееся от собственной важности эго — и страх, всегда страх: смерти, одиночества, незащищенности — все пропитано им: каждый жест, звук, поцелуй... Беги, Сана, беги! Твое настоящее лицо проглядывает лишь во сне: все остальное время тебя еще занимает ролька *peg vagina*² — все остальное время ты тешишь себя иллюзией безопасности, ссужаемой картонными идолами: под анестезией легко забываешь о процентах, однако из камеры не выйти до тех пор, пока счет не будет оплачен... «Официант!» — беги, дура, беги-и...

И Сана бежит. И пульс ее учащается. И дыхание, как водится, прерывается. И life-метрóвка, озвученная слоганком «Горячее сердце холода» — б.-у.шная реклама холодильников Sharp под медленную часть b-moll'ной сонаты³, — кажется бесконечной: люби, Сана, люби-и! Люби без условий, без «почему», люби без желания... Прости возлюбленных и разлюбленных, отпусти всех, о ком мечтала ты и кому не была нужна ты, всех, кто любил тебя и кого ты легко забыла... А еще — Винни-Пуха и всех-всех-всех, ок? — Винни-Пуха и всех-всех-всех, так нужно.

Это обострение, относись к этому как к обострению, говорила Полина, и Сана ловила себя на мысли, что ей хочется заорать, зарычать по-звериному, потому как она не может, сколько бы ни стремилась, достучаться до невероятной этой женщины, под микроскопом рассматривающей каждое движение ее души и не испытывающей к ней, Сане, ни капли сочувствия и тем более жалости.

Комплект ликбез-памперсов, как называла Полина *аптечку* Саны, меж тем пополнялся: букварики от Ошо, Сай Бабы, Руиса, Айванхова, книги для чтения от Доннер и Абельяр, собрания сочинений от Мельхиседека и Кастанеды — и даже простенькая азбучка от едва ли не модного (эзотерика — впрочем, бесполезная — для неопитов и сочувствующих) Зеланда... Томик за томиком, опс-топс-перевертопс, томик за томиком: черт с ним, со стильком! Однако одно то, что меняться было определено в ы г о д н о, поначалу убивало (и здесь корысть, думала Сана) — и все же доза яда, единственно нужного на тот момент целебного яда, действовала, и потому в провокациях недостатка не было: а ну-ка, не сорвешься?.. Гнойник вскрылся, краски стусились: «Не бойся, все через это проходят», — обнадеживала Полина, и Сана ничего, ничего не боялась, хотя и с трудом верила в нормальность того, что все самое гнусное, заложенное в природе двуного, должно именно сейчас змейтаться за ней, когда она вот-вот сбросит с себя старую кожу, с усиленной интенсивностью. Все чаще отсаживалась Сана в метро от тошнотворных — да сколько ж их? и почему именно к ней?.. — в дым пьяных, существ («...паадумаешь, сучка! да ты е...и не про...и»), все чаще замечала, что вызывает у люмпена агрессию («...читаешь — думаешь, умней будешь?», «...во вырядилась! деньги-то где заныкала?..»). А однажды Сана словно со стороны увидела, как обкуренная девица бьет ее по плечу — бьет в ответ на нейтральное «Позвольте пройти», и убегает... В довершение пасторальной картинки некий вьюноша попытается вырвать у нее сумку — резко оттолкнув его, не ожидавшего сопротивления, Сана услышит плебейское: «Дасвидос!» — и опять: перекорежит-то от словечка больше... Нет-нет, никогда не заговорит она с н и м и на одном языке: не заговорит просто потому, что теперь о н и будут проходить сквозь.

Сквозь и мимо.

Продолжение следует.

¹ Перепросмотр (людей, ситуаций) — одна из практик работы с энергией, позволяющая понять, где именно происходит ее утечка: суть — возвращение своей же силы, оставленной, в виде энергетических волокон, в других людях.

² Женщина т. н. фертильного возраста.

³ Шопен, «Траурный марш».

Борис ЛУКИН



Борис Лукин — поэт, переводчик, литературный критик — родился в 1964 году в г. Горьком (ныне Нижний Новгород). Окончил Литературный институт им. А. М. Горького (семинар поэзии Е. М. Винокурова). Еще студентом создал семью и стал отцом троих детей (сейчас — шестеро). Работал в Бюро пропаганды художественной литературы СП СССР, редактором московских районных газет, несколько лет был заместителем главного редактора газеты «Российский писатель» Союза писателей России, в одной из московских школ преподавал русский язык и литературу.

В последние годы — сотрудник «Литературной газеты», редактор приложений «Евразийская муза», «Многоязыкая лира России», «Литературный резерв», сопредседатель Комиссии по творческому наследию поэта Николая Дмитриева.

Борис Лукин — автор книг стихов «Понятие о прямом пути», «Междуречье. Венок сонетов», «Долгота времени», «Воздаяние. Три поэмы» и многочисленных публикаций в российской и зарубежной периодике. Стихи переведены на другие языки.

Живет в Москве.

* * *

День который на рейде стоят сухогрузы
Будто море не вширь, а в две рельсы легло.
Слышишь, скорый навстречу летит из Гурзуфа,
Следом литерный шпарит по-вдоль берегов.

На Фаросе иль в Трое была заварушка.
Жаль, что даты сбивает шальная волна,
Время — вхлѣст. Вспоминается наша житуха,
Где твоя и моя ещё кровь солона.

Тут же чайки твердят о тоске листригонов,
вспоминающих смысл Одиссеевых слов
о Троянском коне, о богах, что догонят,
даже если по жизни тебе и везло.

И тогда ты очнёшься рабом под Кезлевым,
ожидающим нудной разгрузки в порту,
миражом на рассвете за мысом, что слева —
ощутив Севастополя имя во рту;



вековой проживая тоннаж сухогрузов,
ожидая последний воздушный корабль,
там Ай-Петри и Тодор стараются дружно,
прорываясь в мир грешный сквозь звёздную хлябь.

В те края, где: на рейде дымят наливные,
урожай виноградарь готовится снять,
капитан бородатый читает Минеи,
поминая меж строк и тебя и меня.

* * *

Проморкло. Скоро снег взойдёт.
Мне снится женщина чужая,
освобождает от тенёт
моё жилище, обживая.

Она не скажет: «...Поделом.
Я от тебя ушла бы тоже».
Хотя бывает суше, строже —
когда в руке моей перо.

...Мы целый день ещё на вы;
так до любви который раз;
а от того, что не правы, —
темнее в ямочках у глаз.

Истерику, и ночь, и снег
избегнув, — милая, чужая,
всё кутается в сонный смех,
ни словом мысль не нарушая.

* * *

Уснуть мешали ветер и вода,
иль шлёпанцы соседа:
вот когда
нет дела до него, и потому
он сетует на это.
Не спешу
побриться на ночь —
чистого белья
беспечность достаётся одному.

И снег, и молоко груди твоей:
причуда солнца, тень от наших тел...
Друзья и книги развлекали нас
ничуть не больше.

Впрочем,
тем милей,
коль вспомнилось и шарканье дверей
непригнанных, и отчество вина.

Иначе Рождество — всё снег да снег,
как будто выбираем по спине кровать.
Подобная тоска —
в остатках ужина,
где ложка на виду —
почти причина, тема для забот...
когда бы не последняя строка.

Когда ещё пойму в своем углу
хоть что-то — непременно, по углу
пригну страницу. Помнил наизусть
напрасно прежде я: ленивая слюна
наследия. Вот так же плотен пот
уснувшей женщины и снег в лесу.

...Возможна даже прихоть — думать вслух,
покуда жмётся комната к стеклу;
подробности сейчас, как рукава,
с локтей протёрты вдоль и поперёк;
отселе властвуют и пишутся стихи.
Легко, когда усталость такова.

* * *

У Бунина на сеновале
мы спим в осенней неготе.
Мы никогда с тобой не спали,
дыханьем возвращая те —
тела растрачивают пламя.
Но слышим, яблони в саду
миг продлевают; знаю, память
с падучей звёздочкой в ладу.

Движеньям вторит шорох сена.
Всё это деется ладком.
И отчего, шепни мне, лень нам
прерваться, выгрести. — Потом.
То мы запомним, тишь порушив,
рассветом сбиты наповал —
среди созвездий вязких кружев
окна проём на сеновал.



Из Сапфо

Ты читаешь Сапфо с пониманьем любовного действия
и меж строчек: лишь женщина точно поймёт.
Следом шепчешь — я слышу — эта обворожительна дева,
Дар в такую влюбиться... и все прочие просто бабье.
Не до споров, родная; любил я читать эту книгу,
повторял в ней такие строчки, послушай, помню,
что немеет язык, и движение вдруг под кожей
раздувает огонь, от которого скоро слепну;
быстро влажность морская по телу, объятому дрожью,
промелькнёт, и как будто жизни ищу замену...
Мы читаем Сапфо — как они далеки, благие
мысли её — о терпенье, богам угодном.

Ведьмин круг

Всё твержу на память я твои слова.
Осень и не знает, что творит она.
Долго плачет дождик,
шепчет в тон листва.
Милый мой, хороший,
я тебе верна.
Морем была,
ливнем —
изойду слезой.
Будет осень длинной,
прежде мне везло.
И когда прощалась,
словно навсегда,
и когда молчала —
душу берегла.
Листиком опавшим
всякий мил денёк,
хорошо пропащим
умирать у ног.
Затвердив осенние
наизусть деньки,
сладко пьётся зелие
из твоей руки.

* * *

Мокрому снегу неможется в сентябре.
Но утром кажется,
что проспал всю осень.
Взгляд не остановить на Солнце.
На той горе
песок сыпучий.

Я люблю:
что сентябрь до бабы и дюж и ласков.
Чтобы осень своё прошла насквозь,
чтоб не осталось даже рядить во что
ветер,
хоть октябрь срывай с петель.

Женское тело нагое в рост:
никуда и не спрячешь свою нежность.
Что нам застрявший меж звёзд воз,
пока мы любим прилежно.

Что нам по осени счёт цыплят,
вот уж и осень шмыгнула белкою
в ветках верхних;
даже у Солнца из-под пят
уходит земля:
медленно и верно.

Александр ГАЛКИН



Александр Галкин родился в 1961 году. Окончил филологический факультет Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина (ныне МПГУ) в 1984 году. Работал преподавателем русского языка и литературы в школе. Продолжает преподавать русский язык и литературу в вузах. Кандидат филологических наук, литературовед, прозаик, член Всероссийского общества Ф. М. Достоевского, член группы по изучению творчества Ф. М. Достоевского в Институте мировой литературы имени М. Горького, автор статей и книг по русской литературе, автор художественной прозы, книг по физиогномике, хиромантии и астрологии.

НОСТАЛЬГИЯ ПО ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЮ

О ТВОРЧЕСТВЕ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО

На мой взгляд, кинематограф такое же полноценное, серьезное искусство, как поэзия, музыка, живопись, архитектура и прочее. Поэтому не нужно искать в кинозале развлечения.

...Акт творчества происходит в кинозале в момент просмотра фильмов. Поэтому зритель для меня не потребитель моей продукции. Не судья, а соучастник творчества, соавтор.

Андрей Тарковский на встрече в Ярославле со зрителями, членами народной киностудии «Юность» в октябре 1981 года (опубликовано в газете «Советская Россия», № 77, 3 апреля 1988 года, в канун дня рождения А. Тарковского)

Я считаю себя продолжателем классической русской традиции...

Из парижского интервью Андрея Тарковского¹

1. Гамлет и доктор Фрейд

У всех на слуху знаменитая фраза В. И. Ленина «...из всех искусств важнейшим для нас является кино». Жаль только, мало кто знает начало этой лаконичной формулы: «Пока народ безграмотен...» В полном объеме эта цитата звучит иначе: «Пока народ безграмотен, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк»² — и как нельзя лучше подходит к нашему времени — к веку XXI, который с полным основанием следует назвать веком «всеобщей халтуры», особенно в области кино.

¹ Гордон А. В. Не утоливший жажды: об Андрее Тарковском. — М.: Вагриус, 2007. — С. 254.

² Полн. собр. соч. — 5-е изд. — Т. 44. — С. 579: Беседа В. И. Ленина с А. В. Луначарским.

Теперь стало модным слова «фильм», «кино» заменять словечком «проект». «Я снимаюсь в новом амбициозном проекте...» — нередко говорят так называемые звезды шоу-бизнеса.

Имя Андрея Тарковского не имеет ничего общего ни с веком халтуры, ни с пресловутыми визуальными «проектами». Тарковский — синоним искусства кино. А искусство, как известно, требует духовной работы не только от художника, творящего киноискусство, но и от зрителя. Искусство Тарковского не общедоступно, не легко для восприятия. Оно обращено от художника Тарковского к личности зрителя, к той самой неповторимой индивидуальности человека, приходящего в кинозал на фильмы Тарковского, — от сердца к сердцу, от разума — к душе. Зритель должен быть в определенном смысле конгениален художнику: это очень трудно, а иногда невозможно, если зритель духовно и душевно чужд миру нелицеприятной истины и особенной *бескомпромиссной* красоты искусства Тарковского.

Моя первая встреча с Тарковским произошла тридцать лет назад, еще в школе. Тогда я хотел стать актером и поступил в театральную 232-ю школу Москвы. Теперь многие мои одноклассники — известные актеры и режиссеры: Марина Брусникина — режиссер МХТ имени А. П. Чехова; Надежда Перцева — заслуженная артистка России и корреспондент радиостанции «Свобода»; Владимир Пинчевский — артист МХАТа, а ныне — датский киноактер.

Кроме уроков актерского мастерства, которые вела педагог Щепкинского училища Л. П. Малюкова, у нас был углубленный курс литературы. Его

вел известный в московских учительских кругах Лев Соломонович Айзерман. За сократовский лоб, мудрость и оригинальность мы за глаза называли его Соломоном. Именно он послал нас в Кинотеатр повторного фильма на Большой Никитской, тогда еще — улице Герцена (об этом кинотеатре теперь помнят разве что старожилы Москвы!), на фильм Тарковского «Солярис». В девятом классе, сознаюсь, я не способен был понять этого фильма, хотя и уловил необычность киноязыка Тарковского, его строгую отчужденность, но вместе с тем и странную притягательность.

Зато второй фильм, увиденный мною, — «Андрей Рублев» — я принял сразу и безоговорочно, с этого момента поистине влюбившись в творчество режиссера Андрея Тарковского. До сих пор я считаю, что это самый великий фильм мирового кинематографа и едва ли какая-нибудь иная режиссерская работа сможет его превзойти.

Вторая встреча с Тарковским произошла у меня в Театре имени Ленинского комсомола. «Ленком» шефствовал над театральной школой, и ее ученики, то есть мы, играли в массовках спектаклей «Ленкома». Мне довелось сыграть, как это ни абсурдно звучит, войско Фортинбраса в спектакле «Гамлет», поставленном Тарковским.

В глубине сцены, у задней кулисы, театральный декоратор выстроил длинный высокий помост, пересекающий всю сцену, от правой боковой кулисы до левой. По этому помосту нас пускали по одному с интервалом в десять секунд в неверном свете мигающего во тьме софита. Мы проходили по помосту деревянным шагом, потом обегали заднюю кулису и снова поднимались на помост — и так несколько раз. Зритель должен был вообразить, насколько нескончаемо войско Фортинбраса. На самом деле нас было человек 8–10, включая девочек, обряженных в мужские костюмы тех времен — в шляпы с пером, брыжи и чулки. Этот анекдотический эпизод из моей собственной жизни несколько не смазал яркость моих впечатлений от «Гамлета» Тарковского.

Тогда, по молодости лет, я еще не понимал, как мне повезло, что я не только увидел спектакль, но и участвовал в этой театральной постановке Тарковского. В книгах, вышедших одна за другой после смерти режиссера, почти нет упоминаний об этой работе художника, как будто на сцене он поставил одну оперу «Борис Годунов» в лондонском Ковент-Гардене. Тем нужнее оставить эти воспоминания очевидца. Как ни странно, юный возраст не помешал мне запомнить рисунок постановки Тарковского, и потом, когда я уже в качестве преподавателя литературы давал студентам шекспировского «Гамлета», я не раз возобновлял в памяти свои прежние театральные впечатления.

В этом спектакле играли двое приглашенных актеров, не состоявших в труппе «Ленкома». Это любимые актеры Тарковского — Анатолий Солоницын и Маргарита Терехова. Солоницын играл роль Гамлета, Терехова — роль Гертруды. Помню, меня поразило эпизод за кулисами, за час до спектакля, когда я, поднимаясь по лестнице в театральную уборную, которую нам выделили как статистам массовки, вдруг столкнулся с Солоницыным. Тот у меня на глазах договорился с Николаем Караченцовым, игравшим Лаэрта, пройти сцену дуэли, и они тут же, на лестничном пролете между этажами, за три минуты, имитируя шпаги указательными пальцами, воспроизвели замысловатый рисунок поворотов, выпадов и перестроений финальной сцены дуэли Гамлета с Лаэртом. В этой импровизированной репетиции не было ничего нарочитого или, тем более, показного: Солоницын и Караченцова никто не видел, кроме меня, да и меня они, скорее всего, просто не заметили. В то мгновение я понял, что, помимо актерского таланта, существует высокий профессионализм и чувство актерского долга, вытекающее из уважения к зрителю.

Конечно, именно актеры Тарковского — Солоницын и Терехова — определяли основной колорит спектакля. В спектакле было очень много фрейдистского, даже тогда, в юном возрасте, я не мог этого не почувствовать. Солоницын — Гамлет выглядел старше своей матери Гертруды — Тереховой. Он играл, как мне показалось, уже усталого, разочарованного жизнью, разуверившегося в людях Гамлета. Пожалуй, в Гамлете Солоницын было много обыкновенного, обыденного, повседневного. Ничего от блестящего, философского и интеллектуального Гамлета Смоктуновского в фильме Григория Козинцева. Наверное, Тарковский хотел снять со своего Гамлета красоту и патетику: он заставил Солоницына читать монолог «Быть или не быть» лежа на топчане. По ходу развития монолога Солоницын медленно приподнимался с ложа и ходил по почти голой сцене.

Вообще, декорация на сцене была скупая, выдержанная в черно-белых тонах, что называется, *монокромная* — любимый цвет Тарковского в его фильмах. Тем сильнее бросались в глаза зрителю ярко-красные, цвета крови, пятна платьев Гертруды и Офелии (роль последней исполняла Инна Чурикова).

Терехова в красном трико играла в сцене «Мышеловка». Сначала она была зрительницей вместе с королем Клавдием, но потом оба они превращались в актеров и разыгрывали пантомиму убийства законного короля, ставшего Призраком отца Гамлета. Эта идея Тарковского меня и тогда чрезвычайно впечатлила: истинные виновники трагедии разыгрывали на театре, в слегка пародийных тонах, ранее уже состоявшийся в жизни спектакль. Пре-



дательство и измена, таким образом, становились наглядными для зрителя и больше не требовали доказательств, которые обычно в других постановках шекспировской пьесы напряженно, как частный детектив, разыскивает сомневающийся Гамлет.

В пантомиме отчетливо ощущался сексуальный подтекст, связывающий Гертруду и Клавдия как двух страстных любовников, точно главным мотивом убийства короля Дании был мотив устранить мужа-импотента и на воле наконец-то наслаждаться похотью без берегов.

Гамлет — Солоницын, пришедший к матери объяснить и уличить ее в супружеской измене, вел себя тоже как муж, по-хозяйски: он вертел слабую и трепещущую в его руках Гертруду — Терехову. Он сжимал в объятиях ее хрупкое распростертое тело и, едва ли не целуя, бросал ей в лицо, почти вплотную прижавшееся к его губам, гневные слова обличения.

В этой сцене было что-то патологическое: любовь сына к матери в ее физиологическом выражении воспринималась как нечто шокирующее, срамное. Скорее даже казалось, что Гамлет — отец Гертруды или что он сам и есть воскресший призрак, пришедший к жене-изменнице призвать ее к возмездью, повести ее за собой на суд совести. В сцене прочитывалась ревность мужчины к счастливому сопернику — то, что Фрейд в своих работах называл «эдиповым комплексом», тем более что Клавдий, действительно, претендовал стать отчимом своего пасынка Гамлета. Гертруда — Терехова в этой сцене, вероятно в полном соответствии с режиссерским замыслом Тарковского, смотрелась слабой и беззащитной девочкой, растерянной дочерью Гамлета, что-то невнятно лепетавшей в ответ на его беспощадные, невыносимые упреки.

Офелия — Чурикова тоже внесла свою законную лепту в общий фрейдистский замысел Тарковского: помимо того, что она была уродлива и чванлива, она вдобавок была еще и беременной. Горделиво вышагивая по сцене с дурацкой блуждающей улыбкой, она обеими руками оттягивала вперед материю на алом платье, как раз на животе, словно желая оповестить всех о своем интересном положении.

У меня осталось впечатление, хотя тогда, быть может, я и ошибался, что Гамлет Солоницына не борется, что он не бросался с открытым забралом искоренять зло, «вправлять» век, «вышедший из сустава». Он не думал воссоединять распавшуюся связь времен. Нет, этот Гамлет сам поневоле вовлекался в эту фрейдистскую катавасию, превращался в гибельную жертву, в козла отпущения своих и чужих грехов — всякого рода «эдиповых» комплексов. А следствием такой вовлеченности Гамлета в дела плоти становилось зловещее появление на сцене нескон-

чаемого войска Фортинбраса. С этого момента на сцене царилась власть оружия и грубой силы. Воины Фортинбраса, крепко стоя на ногах, с копьями в руках и с безмолвной суровостью, несли караул в поверженном Датском королевстве, они должны были предать земле зарвавшихся и укокошивших друг друга нервических интеллигентов. Социальное зло в лице государства путем насилия мигмом прекратило это мелкое зло плотских страстишек отдельных слабонервных индивидов. Худшее, таким образом, подавляет и уничтожает плохое. Более страшное — социальное — зло приходит на смену менее страшному — душевно-телесному, — не оставляя личности ни малейшей надежды на спасение. Таков был «Гамлет» Тарковского, как я его увидел.

Спектакль не имел успеха и через год был снят, но, случайно сделавшись участником этого театрального действия, я проникся предельно жестким, без сантиментов взглядом Тарковского на мир и людей, его бескомпромиссностью в понимании искусства, где две составляющие искусства — гуманизм и красота — рождаются в муках поиска истины, в противоборстве смыслов, в столкновении душевного и духовного — притом с неясным исходом в этой безжалостной борьбе.

2. Музыка кино и мировое искусство

Все семь фильмов Тарковского подобны гениальной грандиозной симфонии, каждая часть которой включена в единый замысел художника и ведет слушателя к заключительному катарсису. Такая симфония, наряду с ведущей главной темой, полна лейтмотивов и вариаций главной темы. Пожалуй, ни один из кинематографистов так близко по духу и стилистике не приближался к музыканту, как Тарковский.

Какова же ведущая тема Тарковского, ради которой, для того чтобы высказаться, он, собственно, и пришел в искусство? Как мне представляется, это тема художника, шире — творца. Художественный дар, по Тарковскому, не принадлежит его обладателю: он поневоле заложник своего таланта, а подчас — и жертва. Бог наделяет художника талантом, чтобы тот отдал его людям, а люди, в лучшем случае, равнодушны, в худшем — враждебны художнику и его стремлению показать им образ красоты. Вот и еще одна гибельная черта художественного дара — мучительные поиски красоты в безобразном мире жестокости и зла, внесение смысла в поврежденный злом мир, смягчение нравов и добровольное жертвоприношение художника во имя красоты. Художник жертвует своим личным счастьем, нередко — любовью, отказывается от наслаждений, страдает за человечество, посвящает себя искусству, точно

монах — Богу, и, наконец, умирает (часто в безвестности), принося последнюю жертву — собственную жизнь ради людей, которые не замечали его, смеялись над ним или изгоняли из своего круга.

Дар видеть красоту присущ прежде всего ребенку. Ребенок обладает этим незамутненным даром, и в этом смысле он подобен художнику. Вместе с тем художник до самой смерти не теряет наивности и простодушия, потому что без этих свойств ребенка невозможно подлинное искусство. Причем целью искусства для Тарковского, без сомнения, является преобразование человека — от животного состояния к духовному.

Коль скоро художник навсегда сохраняет сущность ребенка, фигуры матери и отца для него — часть его души. Генетическая память о родителях влияет на процесс и результат творчества. Более того, у Тарковского архетипические фигуры матери и отца становятся материалом творчества и предметом искусства. То, что Тарковский хорошо знал и изучал психоанализ Фрейда и Юнга, не вызывает ни малейших сомнений. Правда, судя по фильмам, в большей степени его интересовало личное бессознательное, но и коллективное бессознательное (термины К. Г. Юнга) временами вторгалось в сновидения героев Тарковского, например бегущая толпа, одержимая страхом атомной катастрофы в сне героя «Жертвоприношения» Александра.

Прошлое, будто длинный шлейф, тянется за героем Тарковского, беспокоит его в сновидениях, мучает его совесть наяву, является в мечтах и воспоминаниях, всплывает в виде непрошенных ассоциаций и навязчивых дежавю. Человек Тарковского оказывается в межеумочном состоянии между мирами, реальным и призрачным, иногда потусторонним. Между этими мирами никак не удержаться без точки опоры. И точно так же, как ребенок нуждается разом в отце и матери, так и взрослый, по Тарковскому, вынужден обратиться к Отцу небесному и к Божией Матери. С последней, вполне в русле русской философской традиции конца XIX — начала XX века, неразрывно связаны идея Вечной Женственности и поиски красоты.

Впрочем, образ женской красоты тоже раздваивается у Тарковского. С одной стороны, он помнит об идеале — Богоматери, с другой — в женской красоте, как рисует ее Тарковский, присутствует теневая сторона, если пользоваться термином Юнга — это «анима» (душа) самого мужчины. Образ женской красоты примерно один и тот же у Тарковского, он переходит из фильма в фильм: это — крупная высокая блондинка с утонченными чертами лица, иногда она загадочна и грациозна, иногда жеманна и капризна, как дикая кошка. Этот образ внутренне пре-

следует героя, и в снах или грезах мать превращается в жену, а жена — в мать. В отношении обеих герой испытывает чувство вины. Он бежит от любви этих любящих его женщин, чтобы, как ему кажется, обрести творческую свободу и поэтическое вдохновение, но эта еще одна иллюзия, потому что герой трагически мечется в замкнутом кругу, очерченном ему большой совестью, и часто оказывается бесплоден.

Отдельная линия фильмов Тарковского — это искусство, властно вторгающееся в жизнь личности и меняющее человека.

В «Ивановом детстве» мальчик Иван и старший лейтенант Гальцев листают альбом с гравюрами Альбрехта Дюрера, сцены из Апокалипсиса: бородастый всадник на бледном коне, имя которому смерть, напоминает Ивану фашиста на мотоцикле. Сержант Катасоныч чинит патефон, и в разрушенном алтаре церкви, где разместились офицеры и Иван, поет Федор Шаляпин.

Иконы Андрея Рублева — действующие лица в финале фильма «Андрей Рублев». В «Зеркале» икона Рублева «Троица» висит в комнате сестры главного героя. В «Жертвоприношении» главному герою Александру в день рождения дарят альбом иконописи Андрея Рублева, и он восхищается вдохновенным искусством русского мастера.

Финал «Соляриса» — кинематографическая цитата на тему картины Рембрандта «Возвращение блудного сына».

Мальчик в «Зеркале» рассматривает альбом Леонардо да Винчи. В «Жертвоприношении» Александр с почтальоном в доме главного героя вглядываются в шедевр Леонардо «Поклонение волхвов» и проникаются страхом, не в силах раскрыть тайну картины, навещающую на зрителя такой ужас.

Музыка Иоганна Себастьяна Баха всегда звучит в фильмах Тарковского. Хоральная прелюдия фа-минор Баха у многих верных поклонников Тарковского неизбежно ассоциируется с «Солярисом»¹, в особенности с его прологом, где камера оператора Вадима Юсова как будто втягивает зрителя в замедленный ритм едва зыблущейся на поверхности пруда воды, сопровождаемый волнообразным движением водорослей.

Величественная музыка Баха входит в потрясающий резонанс со стихиями природы — с землей, небом, деревом, водой, пламенем костра, разведенным Крисом Кельвином, героем «Соляриса». Лишь человек, беззаветно влюбленный в красоту земли, может так показать природу. И это доступно только искусству кино.

¹ Хоральная прелюдия Баха в аранжировке композитора Эдуарда Артемьева.



Последний кадр «Жертвоприношения» — расцветшее сухое дерево, которое поливает Малыш, сын Александра, тоже сопровождается хором женских голосов, поющих музыку Баха.

Бах как будто извлекает из земного мира последний грандиозный аккорд и тем завершает земной путь режиссера Тарковского, вскоре после съемок «Жертвоприношения» обреченного умереть от рака. Искусство, одним словом, вторгается не только в творческую, но и в биографическую жизнь Тарковского: его последний фильм — своего рода жертва Богу во имя жизни, передача эстафеты творчества от отца к сыну. Не случайно он посвящает свой фильм сыну Андрюше.

А еще раньше, в «Зеркале», мы видим кинематографическую цитату на тему картины Питера Брейгеля-старшего «Охотники на снегу» (в «Солярисе» эта картина висит в кают-компании космической станции). Дерево Брейгеля, точно по волшебству, оживает на экране, перетекает в живой природный пейзаж, подобный брейгелевскому, но только уже в России, становится на глазах у зрителя зримым деревом, с которого слетает птица и чудесным образом садится на голову мальчика, героя фильма. Реальность суровых, голодных дней Отечественной войны вдруг мистически преображается: птица, вестница счастья, слетает с мирового древа, крона которого воссоединяет человека с небом, с Богом. Расцветшее сухое дерево в финале «Жертвоприношения» — это символическое мировое древо, и оно же — древо познания добра и зла. Мировые символы, таким образом, — верстовые столбы в кинофильмах Тарковского, мелодические опоры и повторяющиеся мотивы в киносимфонии его творчества. Всякий зритель так или иначе делает возле них остановку, сверяя их с картой своей судьбы, где лоцманом в запутанном фарватере жизни будет собственная совесть. Понятно, что такое киноискусство требует от человека доверия, полной отдачи, самоанализа и рефлексии, часто мучительной и болезненной для души. Искусство Тарковского нельзя без напряженной внутренней работы безболезненно сжевать и проглотить, как нынешние бесконечные сериалы или триллеры.

3. Кино как зеркало подсознания

Тема детства начинает звучать в первом фильме Тарковского — «Иваново детство». В основу сценария был положен рассказ В. Богомолова «Иван». Но Тарковский недаром изменил название. Фильм открывается прологом — сновидением мальчика Ивана. Герой счастлив: вокруг него цветущая летняя природа, сноп солнца пронзает густую листву

деревьев, летит бабочка, да и сам Иван, обретший во сне способность летать, с радостным смехом парит над лесом, проселочной дорогой. Слышно, как кукует кукушка, и некая тревожная нота в этой идиллии природы начинает беспокоить зрителя, ведь в народном поверье кукушка отсчитывает годы и нередко пророчит несчастья. Иван вновь стоит на земле, бежит к матери и пьет из ведра прохладную колодезную воду. Эта картина безмятежного детства обрывается звуком автоматной очереди, перекошенным от страха лицом матери, криком Ивана «Мама!» — и зловещие щели мрачной и дряхлой мельницы, где прикорнул Иван, возвращают его в реальность войны и опасности быть убитым фашистами. Мельница с обломанным крылом, голые косогоры, на которых там и сям торчат то ли уродливые остовы брошенного дома, то ли железные останки военной техники, — вот что пришло на смену Иванову детству.

Теперь камера выхватывает посреди земли почерневшую от пороха дверь, а за ней нет избы, стоит только одна печка, с трубы которой срывается почему-то уцелевший петух. Покосившийся кладбищенский крест, застилающий рассветное солнце, этот чудовищный символ войны, точно уродливая ось мира, перечеркивает когда-то существовавшую красоту.

И опять сон Ивана: летний ливень; грузовик, везущий груды яблок; мокрые и счастливые мальчик и девочка в кузове; большие и мягкие лошадиные губы, жующие яблоки, рассыпанные на берегу реки, и вдруг опять щемящая тревожная нота — колодец, со дна которого Иван смотрит на мать, грубая немецкая речь, и тело убитой матери у колодезного сруба.

Война отражается и в искаженном ненавистью недетском лице Ивана, когда он с финкой в руках, перед тем как пойти на задание и погибнуть, словно ребенок, играет в войну, представляя перед собой фашиста. Потом Иван поднимает на веревке маленький колокол, лежавший на полу этой брошенной церкви, ставшей пристанищем солдатам войны. Символически это означало, что русский народ должен воздвигнуть колокол веры над разрушенным храмом.

Кажется странным, что Тарковский, не зная будущего, как будто разбрасывает мостики в это самое будущее. Он будто бы пророчествует и угадывает грядущие события, перепрыгивая через время. Тот же Николай Бурляев, игравший Ивана, в следующем фильме Тарковского «Андрей Рублев» сыграет литейщика Борисуку, отлившего гигантский колокол для церкви в разграбленном татарами Владимире. Этот гигантский колокол будет веревками и рычагами поднимать на колокольню сотня мужиков. И в том же «Андрее Рублеве», в прологе филь-

ма, над землей, церковью, рекой полетит на воздушном шаре из коровьей кожи поэт Николай Глазков, как в «Ивановом детстве» во сне летит Иван.

В «Зеркале» время разбито на осколки. Только сознание главного героя склеивает и соединяет воедино эти осколки событий, времен, сновидений — ассоциативно или поэтически. В фильме движутся с разной скоростью три временных потока: довоенное детство героя; военное время, когда он подростком вместе с матерью и сестрой ждет с войны отца; и, наконец, послевоенная современность — 60-е годы XX века. В последнем временном потоке главный герой выступает сразу в трех ипостасях: как сын и муж, как брат и как отец своего сына, который в фильме ровесник героя времен войны, и играет обоих подростков один и тот же мальчик (Ф. Янковский).

По существу, фильм «Зеркало» — это развернутый внутренний монолог главного героя, лицо которого так и не попадает в кадр. Слышен один его голос — голос Иннокентия Смоктуновского. Герой вспоминает свой сон. Этот сон снится ему много раз в течение жизни — сон о деревенском доме, где он жил до войны маленьким ребенком с сестрой и матерью. Герой в сновидении пытается войти в дом своего детства, но сон не пускает его, как бы говоря, что нельзя возвратиться в прошлое.

Образ дома — лейтмотив фильма «Зеркало», но и одна из ведущих кинематографически музыкальных тем всего творчества Тарковского. Разрушенный дом возникает в «Ивановом детстве». В «Солярисе» фрагменты родного дома Криса Кельвина (актер Д. Банионис) воспроизводит океан Солярис, вошедший в контакт с жителями планеты Земля. В «Ностальгии» герой покидает дом и тоскует о нем в Италии, за границей. Этот русский деревенский дом является ему как дар свыше в момент смерти — в обрамлении римского Колизея. В «Сталкере» Зона для Сталкера — это обретенный и каждый раз исчезающий дом. В «Жертвоприношении» Александр сжигает свой дом, тем самым выполняет свою клятву Богу — сжечь все самое дорогое и навеки замолчать, если Бог спасет человечество от ядерной катастрофы.

Из всех более или менее символических названий фильмов Тарковского его «Зеркало» — самое метафорическое. Это название в какой-то мере отражает смысл его киноязыка и — шире — его искусства.

Метафора зеркала многократно обыграна в мировой литературе и живописи. В «Ревизоре» Гоголь помещает зрителей перед зеркалом сцены; Бобчинский глядит в Добчинского, словно в зеркало; городничий — в Хлестакова, Хлестаков — в городничего;

дочь городничего Марья Антоновна — в мать Анну Андреевну. Осколок зеркала попадает в глаз Кая в андерсеновской сказке «Снежная королева», и добрый мальчик становится злым и жестоким. В страну Зазеркалья попадает Алиса Льюиса Кэрролла. Композиции множества портретов и автопортретов самых разных художников были построены на игре модели с зеркалом. И все же ни литература, ни живопись не обладают такими возможностями игры с зеркальными отражениями, как кино. Ведь и само кино, по большому счету, есть метафора зеркала: зеркальные линзы кинокамеры дробят целое мира на осколки, подобные зеркальным, и показывают его в уменьшенном или укрупненном виде. К тому же роль зеркал берут на себя в кино стеклянные и отражающиеся поверхности, а также лужи, ручьи, реки, даже глаза героя, в которых отображается героиня. Все кинорежиссеры используют в своих фильмах эти отражающиеся, зеркальные эффекты, но, пожалуй, один только Тарковский сознательно и принципиально сделал метафору зеркала основой своего творчества. Это — сквозная метафора его фильмов.

В прологе «Зеркала» мальчик Игнат, сын главного героя, заглядывает в черный экран телевизора, включает его и смотрит (вместе со зрителем фильма «Зеркало»), как врач-психиатр избавляет мальчика-заика от заикания, как больной подросток повторяет за врачом ключевые слова всякой человеческой жизни: «Я могу говорить!» Это подобно (зеркально) созданию Богом мира с помощью Логоса. Каждый человек должен обрести свой Логос — в этом его назначение на Земле. И не есть ли это, в самом деле, убегающая от нас тайна смысла человеческого существования, над которой не один век тщетно бьются философы и художники?!

Задача в том, чтобы не только обрести Логос, но и с его помощью высказаться в этом мире. Игнат, сын героя, в доме отца мучительно нащупывает пока еще не высказанные, но самые важные смыслы, должны быть опорой его внутренней жизни. Потому-то так загадочны мистические совпадения между жизнью отца и сына, так странны знаки потустороннего, которые Игнат замечает в этом незнакомом ему отцовском доме. Именно здесь Игнат, подобно мальчику-заике, должен победить свой страх, чтобы взглянуть внутрь себя, «в глубину зеркального стекла». Другие — вот зеркало его «Я», и это человеческое «Я» иначе никак не способно осознать себя и свою идентичность, кроме как через других, прежде всего близких людей: мать и отца, мужа и жену, сына или дочь.

Игнат, постепенно превращаясь в личность, глядит в себя, но видит перед собой зеркало отца. На-



против, его отец, Алексей Сергеевич, глядит в зеркало сына, пытаясь справиться со своей больной совестью и ради этого возвращаясь в прошлое — к себе, подростку времен Отечественной войны, когда он был ровесником своего сына Игната и, как Игнат, мучительно находил свое место в мире. Другими словами, Тарковский в фильме пускает навстречу друг другу два противоположных — *зеркальных* — потока времени: будущее и прошлое. Возмужание Игната как следствие его духовного роста обращено в перспективу, в будущее. Рефлексия его отца, наоборот, движется к прошлому. Однако парадокс в том, что воспоминания отцом себя, мальчика, повторяют ту же линию воспитания и становления личности, обращенную в будущее, что и у его сына Игната, но только как в кино — с кадрами, пущенными назад, в обратном направлении. Два потока времени — прошлое и будущее — неожиданно повторяют друг друга, как зеркальные двойники, так что отец и сын в какой-то момент сливаются, вместе с тем оставаясь внутри того исторического времени, с которым они родились и в котором должны жить и двигаться в будущее.

Игнат несет в себе обиду на отца, бросившего их с матерью. Душевно сын больше привязан к матери, и понятно, что мать для сына тоже зеркало. Вот почему мальчики, превратившиеся в мужчин, всю жизнь потом бессознательно ищут жену или подругу — подобие собственной матери. Отец Игната, в свою очередь, вспоминает собственного отца, тоже ушедшего из семьи. Киносюжет, созданный Тарковским-художником, странным образом начинает действовать также и в его биографической жизни: Андрей Тарковский, как его отец поэт Арсений Тарковский, уходит от первой жены и сына. А позднее, когда он в эмиграции, на шведском острове Готланд, снимает «Жертвоприношение», его второго сына Андрея долго не выпускают из СССР к отцу и матери. Поистине поэт — подлинный заложник своего творения и его жертва. Не зря Ахматова предупреждала поэтов не пророчествовать о смерти и собственной судьбе.

Итак, главный герой фильма «Зеркало» болен, и, может быть, болен серьезно, хотя причина его болезни, если верить брошенной врачом фразе, в беспокойной совести: он виноват перед матерью, которой долго не звонит; перед покинутыми им женой и сыном. Совесть заставляет его опять и опять возвращаться в детство, чтобы герой, наконец, понял ускользающий от него жизненный смысл происходящего. Он вспоминает мать молодой, и она в его воображении предстает с лицом жены (актриса М. Терехова). А в его сновидении, при том что сон для Тарковского всегда является зеркалом подсознания героя, жена Наталья смотрит в зеркало,

тогда как в нем отражается лицо его престарелой матери.

Тарковский в роли старой матери снимает свою мать, а роль отца играет Олег Янковский, как две капли воды похожий на отца режиссера поэта Арсения Тарковского в молодости. Интересно, что несколько слов в фильме, произнесенные отцом героя, озвучивает не сам Янковский, а отец Андрея Тарковского Арсений. Он же читает свои стихи за кадром. И вместе с его стихами в фильм входит время — довоенная сталинская Москва и сама война. Тарковский находит поразительные кадры кинохроники, под стать замедленному ритму его фильмов: усталые грязные солдаты бредут по пояс в воде, тянут и толкают громадную лодку с пушками. Война предстает без всякой патетики и героизма — как тяжелый ежедневный труд, как будни. Так же *буднично*, незаметно для себя, без позы и бравады человек входит в историю.

В том же ключе — человек и время — показан Тарковским эпизод, заимствованный им из жизни своей матери. Она работала корректором в московской типографии, и ей показалось, будто она пропустила ошибку в эпитете вождя всех народов Сталина: в слове «главнокомандующий» не вставила отсутствующую букву «л». Для тех, кто жил в сталинскую эпоху, совершенно очевидны последствия, которые ждали мать и ее семью, будь такая ошибка обнаружена после издания академического собрания сочинений Сталина. К счастью, матери эта ошибка только привиделась, это было какое-то наваждение.

Разумеется, в фильме (да еще в советское время) невозможно было буквально представить этот эпизод. О том, какая именно могла быть допущена ошибка, Тарковский рассказывал на встрече со зрителями. Однако сцена выстроена режиссером так отчетливо поэтически, что главный ее смысл все равно становится понятным зрителю.

Мать (М. Терехова) под проливным дождем перебегает дорогу, торопится к типографии, показывает пропуск на проходной, бежит по длинному коридору, ищет верстку. Ее тревога передается девочке-корректорше, начинающей плакать, подруге Лизе (актриса А. Демидова), мастеру смены (актер Н. Гринько). В цехе, где громко стучат станки, она читает уже готовую, изданную и сброшюрованную книгу. Вокруг нее собираются испуганные типографские рабочие, всю ночь печатавшие эту книгу. Их тоже заражает страх, потому что и они в одночасье могут быть арестованы, вырваны из семей, расстреляны из-за одной ничтожной орфографической ошибки.

На ухо мать шепчет подруге Лизе, какая ошибка ей примерещилась. Та нервно усмехается, а потом

пеняет матери, что та собственными руками создала угрожающую для всех ситуацию и что похожа на героиню «Бесов» Ф. М. Достоевского — Марью Тимофеевну Лебядкину, юродивую хромоножку. Мастер приносит матери спирта, чтобы та сняла нервное напряжение, и говорит кстати: «Кто-то будет работать, кто-то бояться». Мать стоит под душем, вода в котором внезапно прекращает идти, и полусмеется-полуплачет то ли от невысказанного счастья, то ли потому, что с ее души свалился камень, то ли оттого, что она такая недотепа. В этой почти молчаливой сцене прочитывается сталинское время, но не ради того, чтобы выразить безумный человеческий страх, а с целью показать, что люди остаются людьми и что они готовы скорее спасти мать и помочь ей всем, чем могут, нежели донести на нее и предать в руки сталинских палачей.

Личная история — фрагмент большой истории. В гостях у главного героя испанцы. Когда-то, во время испанской войны, детей Испании переправили в СССР, и они остались там, уже не надеясь вернуться на родину. Дети испанца со страстным и хищным лицом никогда не видели отечества. Рассказывая об Испании, он изображает корриду и знаменитого тореадора. И сразу вслед за этим — бомбежка, лица испуганных детей, перебегающие через улицу женщины, слезы матерей, отправляющих своих детей на чужбину.

История с мальчиком-блокадником, который на стрельбище бросает учебную гранату, а военрук прикрывает ее своим телом, не зная того, что это муляж, — возникает в памяти главного героя и очевидца этих событий. И опять кадры кинохроники вбирают малую судьбу отдельного человека в большое историческое время: залпы Победы; толпы китайцев-хунвейбинов, суровые лица пограничников на полуострове Таманский, которые держат друга за руки и стоят спиной к беснующимся китайцам, размахивающим фотокарточками Мао Цзэдуна; наконец, ядерный взрыв и безобразный гриб, раскинувшийся над Землей. История — своего рода сон человечества о себе самом, куда вливаются отдельные личные судьбы. Так сновидения в картине перемежаются с явью, с Историей и со временем, в котором живет человек.

Вот в сновидении главного героя он сам совсем еще ребенок, приподнимается ночью на железной сетчатой кровати. По комнате бродят тени. Его манят загадочные и тихие звуки ночи, притягивает к себе страшный лес, зовет в самое логово, в заповедную чащобу. В лунном свете, едва различимы, колеблются от ветра кусты; деревья, точно русалки, протягивают руки навстречу запоздалому прохожему. Невероятно медленно двигаются фигуры матери и

отца. Мать, наклонившись над тазом, разбрызгивает воду. Мокрые пряди волос, прильнувшая к телу рубашка и в бисерных каплях лицо, освещенное счастливой, самозабвенной улыбкой — улыбкой любви к отцу. Беззвучно, как бывает во сне, падают сверху куски штукатурки, по стенам черными полосами скатывается дождь, струится по кирпичной кладке. Близится катастрофа: разрыв, нелюбовь, одиночество, но мать еще не знает об этом. Улыбается, глядя в зеркало. И вдруг из глубины, с другой стороны стеклянной двери, медленно подступает состарившаяся мать, отворяет дверь, и за ней мерцают реки, облака... Звучат стихи Арсения Тарковского, читанные самим поэтом:

Свиданий наших каждое мгновенье
Мы праздновали, как богоявление,
Одни на целом свете. Ты была
Смелей и легче птичьего крыла,
По лестнице, как головокруженье,
Через ступень сбегала и вела
Сквозь влажную сирень в свои владенья
С той стороны зеркального стекла.

Как зеркальное отражение перипетий фильма видится этот сон-предвестие, сон-предсказание, сон-пророчество. Но лейтмотивом картины все же будет другой сон — сон о доме, куда герой тщетно пытается войти: кружит вокруг него, а дом его до времени не пускает, оставляет на пороге. Чтобы войти в память, чтобы дом сам отворил двери и впустил героя, необходимо заново пережить свои воспоминания, «переболеть» стыдом, который, по выражению Криса Кельвина, героя «Соляриса», спасет человечество.

Этот сон тянет за собой еще одно воспоминание героя времен войны: огненно-рыжая девочка, за которой бегал военрук, чуть угловатая, в коротком, до колен, пальто идет по снегу невыносимой белизны, улыбается по-женски таинственно, зная, что за ней следят мужские глаза. У рыжей обметанные губы, на верхней — полузатянувшаяся ранка от лихорадки. Рыжая слегка дотрагивается до нее и вновь смеется. Мальчишка угрюмо смотрит ей вслед...

Кажется, невразумительный, бессвязный фрагмент, осколок зеркала? Но он «выстрелит», как чеховское ружье, в той сцене, где Тарковский скажет самое главное о человеке.

Мать и сын, голодные до последней крайности, приходят в год войны к сытой, лоснящейся от довольства и благополучия хозяйке, чтобы обменять драгоценности матери на кусок хлеба. Хозяйка и мать уходят в другую комнату примерять серьги, а мальчик остается один. Он видит уютную бревен-



чатую горницу. В углу теплым светом горит лампа под уютным белым абажуром. Рядом — громадный прозрачный кувшин с молоком. На дощатом столе две картошки с чуть надорванной кожурой, лужица разлитого молока: растекшись по столу, капли медленно падают на скамейку. Невыносимо измученный голодом, сын не отводит взгляда, смотрит на картофелины, небрежно брошенные в двух шагах от него, но недоступные, как мираж. Искусаны губы — ранка на верхней губе. Он не бросается на еду, как зверь. Выдерживает испытание плотью. Остается человеком.

Мать, ради сына взявшая в руки топор, чтобы отрубить голову петуху, не в силах убить живое существо, совершить бессмысленное жертвоприношение, и она забирает серьги, убегая от сытого благополучия. Мать и сын, по-прежнему голодные, уходят без хлеба прочь — в никуда, в бездомье, унося с собой драгоценности своего несломленного духа.

И как видение, как дар в зеркальном стекле мальчику, герою фильма, явилась рыжая девочка, полусогнувшаяся у печки и ободрявшая его взглядом. Подчеркнуто выхваченный кадр — тонкая женская рука держит горящую лучину — становится символом красоты, несущей огонь духовности. Эта сцена опять сопровождается стихами Арсения Тарковского:

У человека тело
Одно, как одиночка,
Душе осточертела
Сплошная оболочка
С ушами и глазами
Величиной с пятак...
И снится мне другая
Душа, в другой одежде;
Горит, перебега
От робости к надежде,
Огнем, как спирт, без тени
Уходит по земле,
На память гроздь сирени
Оставив на столе.

У Тарковского нет счастливых концов: жизнь трагична. И все равно каждый его фильм оставляет надежду. В «Зеркале» мы видим сгнивший сруб дома, заросший и запущенный колодец, все, что осталось герою от детства. Но старая мать ведет детей по полю, а молодая мать смотрит им вслед, смеется и плачет. Прошлое и настоящее воссоединяются, скрепляются прозрением искупленной вины. Сон под величественную музыку Баха впускает героя в дом. Перед ним, ребенком, распаивается мир, вечный и прекрасный, мир гармонии, к которому он должен возвратиться, пройдя обратный путь к про-

шлому и пропустив воспоминания через зеркальное стекло совести.

4. Кино как сновидение

— Я знаю, сеньор, только одно: когда я сплю, я не знаю ни страха, ни надежд, ни трудов, ни блаженства. Спасибо тому, кто изобрел сон. Это единая для всех монета, это единые весы, равняющие пастуха и короля, дурака и мудреца. Одним только плох крепкий сон: говорят, что он очень смахивает на смерть.

— Никогда еще, Санчо, ты не произносил такой изящной речи...

Сервантес, «Дон Кихот»; этот отрывок по просьбе Снаута читает Крис Кельвин в фильме А. Тарковского «Солярис»

*Есть близнецы — для земнородных
Два божества, — то Смерть и Сон,
Как брат с сестрою дивно сходных —
Она угрюмей, кротче он...*

Ф. И. Тютчев. Близнецы (1852)

Я сравнивал киноискусство Тарковского с музыкой. С тем же основанием его фильмы можно сравнить со сновидениями. Тарковский и здесь новатор. Если задуматься, зачем человек приходит в кино, то ответ будет прост, хотя и не очевиден. За снами! На самом деле из всех искусств одно лишь кино вернее всего напоминает нам сон. А сон человеку так же необходим, как воздух, как вода, как пища. Может быть, для души человека сон даже важнее, потому что сновидение силится сказать нам нечто такое, что скрыто от нас наяву, или то, в чем мы боимся себе признаться. По Юнгу, сон — посредник между нашим бессознательным и сознанием: если понять смысл сна, то мы станем обладателями не только личного, но и коллективного бессознательного, на нас хлынет некая скрытая или подавленная энергия. Странность заключается в том, что наши сны завянут и не завянут от нас. Потому-то они так притягательны, что сны — зеркало нашего подсознания, но одновременно и чего-то большего — того, что условно можно обозначить смертью, или, точнее, чем-то, что по ту сторону жизни, куда уходят все люди и откуда не возвращаются.

Кино, в отличие от статического искусства — живописи, скульптуры и графики — и слышимой, но незримой музыки, динамично, видимо и слышимо. В кино зритель ищет иной реальности, очень близкой к его собственным снам. Ведь уйти в сон — все равно что скрыться от тягот и обыденности повседневной жизни. Погрузиться в великую иллюзию кино и забыть о собственной жизни — не то же ли это самое, что заснуть и видеть сны?

К тому же кино, несмотря на то, что это искусство, организованное во времени и в этом смысле конечное, обладает уникальной способностью «выдергивать» зрителя из его повседневного времени, следовательно, кино втягивает человека в своеобразную воронку, где для него начинает действовать особое психологическое время, которое может как обновить душу зрителя, преобразить его личность, так проглотить его без остатка, «выплюнув» наружу из своего водоворота одну опустошенную телесную оболочку.

Тарковский, разумеется, отлично знал этот закон киноискусства, а также театра, но он не предлагал своему зрителю очередную порцию развлечений: чтобы проникнуть в искусство Тарковского, человеку необходимо сделать усилие. А как же иначе?! «Царствие Божие силою берется». Прекрасный цветок расцветает на возделанной почве. Преображение невозможно без серьезной внутренней работы. Одним словом, мало увидеть сновидение, надо еще понять его тайный смысл.

Фильм «Солярис» — фильм-сновидение. Океан Солярис — это грандиозная метафора совести. В реальности мы можем заглушить голос совести, или сделать вид, что совести вовсе не существует, или, в лучшем случае, убаюкать совесть благими намерениями, которыми, как известно, вымощена дорога в ад. Тарковский научно-фантастические коллизии романа С. Лема¹ превращает в острейшую моральную проблему: человек наедине со своей неуспокоенной совестью. Живую космическую материю океана Солярис талантливый ученый Сарториус (актер А. Солоницын) подвергает воздействию жестким пучком радиации — и Солярис из глубин подсознания обитателей космической станции поставляет чудовищные «сны разума»², в духе страшных и болезненных офортов Гойи. Мало того что Солярис транслирует их, он их материализует, так что герои фильма оказываются лицом к лицу со своими грехами, будь то действительные грехи или помысленные, воображаемые. Ужас нашего подсознания, рожденного в снах и фантазиях, вдруг мы должны лицезреть воочию и думать, что делать с этими «гостями», как иронически называет их Снаут (актер Ю. Ярвет). Океан Солярис (читай: наша совесть) из материала наших снов создает зримую, материализованную реальность. Что нам делать с этим? Сар-

ториус изучает этих «гостей», то есть собственные грехи, как добросовестный ученый. Он использует научный инструментарий, экспериментирует с ними, делает вскрытия, медицинский анализ крови, проводит физические и химические опыты. Снаут, в отличие от Сарториуса, больше не думает о науке, перестает бороться с «чудовищами разума» и попросту напивается, желая забыться. Он объясняет Крису с большой долей проникательности, что в данных обстоятельствах «гений и бездарность находятся в одинаковом положении». Гибарян кончает жизнь самоубийством, не в силах совладать с устрашающими образами совести. И только один Крис Кельвин ведет себя по-человечески (вопреки утверждению Сарториуса, будто тот «только целыми днями валяется в кровати»): явленный ему из недр его больной совести образ умершей жены Хари Крис Кельвин начинает любить, точно ожившую жену. И этот двойник, зеркальное отображение его памяти, делается все самостоятельнее. Больше того, двойник Хари сам, с помощью Криса и его эмоциональности, научается любить. А любовь, по Тарковскому, это не что иное, как самопожертвование. Добровольно уйти из жизни Криса и не мучить его больше — это решение созревает в сознании двойника Хари, то есть той женщины-образа, порождения океана Солярис, или, иначе, совести, которая не только наказывает человека, но и благословляет его, вносит в душу гармонию, создает образы детства и природной красоты, если, конечно, человек начинает доверять голосу собственной совести.

Так, океан Солярис благодарно возвращает Крису Кельвину остров его счастливой земной жизни. На поверхности океана Солярис появляется остров, сотканный из самых дорогих и сокровенных воспоминаний главного героя: заросшего пруда рядом с отцовским домом, дождевой капли, материнской фигуры, кувшина с водой, из которого мать умывала Криса-ребенка, шерстяной шали жены, превращающейся в вязаное платье матери. Оставаясь на станции Солярис, Крис, точно рембрандтовский блудный сын, возвращается на Землю, в отцовский дом, — для покаяния — и припадает к груди отца, опускаясь перед ним на колени. Цитата из картины Рембрандта только усиливает вневременной смысл происходящего, увековечивая живую связь человека с его совестью.

Продолжение следует.

¹ Фактически А. Тарковский и Ф. Горенштейн написали совершенно новый сценарий на материале романа польского фантаста. Этот сценарий С. Лем не хотел принимать и долго не давал разрешения на съемку фильма.

² В 1793–1799 годах Ф. Гойя создает серию офортов «Капричос», один из которых назван им «Сны разума рожают чудовищ».

Дмитрий БОБЫШЕВ



Продолжение.
Начало в № 7–12 за 2009 г., № 1–10 за 2010 г.

УВИЖУ САМ

ЧЕЛОВЕКОТЕКСТ, КНИГА 3

Рим

Расставшись с венецианскими попутчиками и хозяевами, мы со Славинским направились в Город, куда, как известно, ведут все пути, в том числе и железнодорожные, которые на подъезде к нему скучны и неказисты, как и везде: штабеля шпал, кучи щебня, контейнеры, склады... Но вот необычное зрелище — беспорядочные трущобы, или попросту кривые конуры для жилья, сделанные кое-как из подручных материалов с косыми пролазами-проходами между ними, — такие же, как под Буэнос-Айресом (увиденные глазами киношника-документалиста) или под Усинском у Полярного круга, куда ездила Леночка Пудовкина к ссыльному мужу и откуда прислала фотографию этого чуда градостроительства с такой запиской (от 28 августа 1986 года): «Кварталы “Фантазия” и “Нахаловка” — живописнейшие лабиринты, состоящие из вагончиков, цистерн, больших коробок и прочих предметов, приспособленных под жилье; все это сплетено водопроводными и отопительными трубами, подведено электричество. Первое впечатление, что жить нельзя, а потом понимаешь, что находишься на настоящем, крепком дне, и глядеть отсюда на другую жизнь интересно, весело и спокойно».

А я глядел на подобное через вагонное окно. И вдруг на одной конуре увидел надпись крупными зелеными буквами: «*Konstantinov № 8*». Привет соотечественнику! И поезд прибыл в Рим.

Мы решили передвигаться в городских прогулках только пешком — как предложил Славинский, «мерным шагом легионеров», — и следовали этому уговору ненарушаемо. Из квартирки на Трастевере

мы спустились с отрога Яникула к быстрому желтовато-мутному Тибру, и если путь лежал к Палатинскому холму, переходили реку по мосту ниже каскада, а если к Капитолийскому — то через два моста и остров выше. Вчерашний мусор, оставленный внуками Ромула и Рема, все еще валялся по укромным местам и ступенчатым спускам, и по нему легко можно было судить о характере ночной жизни: одноразовые шприцы, презервативы и мятые банки на каменных плитах... Но для меня здесь была б драгоценна и пыль. Мотороллеры и крохотные (на мой уже американский взгляд) автомобильчики запруживали набережные попеременно с величественными кораблями туристских автобусов. Те открытки с коротким текстом, которые присылал мне Славинский на Петроградскую сторону, внезапно ожили, панорамно раздвинулись, а текст зазвучал беседой друзей:

— Ну, как тебе Рим, чувачок?

— Обалденно!

— Ну, то-то...

Он дарил мне его охапками, развернутым ворохом архитектурных фасадов, видами того, как вольно и весело существуют люди среди древностей, среди стольких искусств — как изящных, так и монументальных, — дарил даже самым простым ощущением: я — здесь! А зрение между тем услаждалось игрой пропорций: после колосса Колизея уличная копия Римской волчицы удивляла скромными размерами, но и не меньшей весомостью. А этой улочке хватило одной каменной стопы гиганта (кажется, Диоклетиана), чтобы состояться как художество — с формой,

содержанием, идеей, новизной и даже абсурдом. Принцип: в малом — огромное. Ради такого фокуса мы оказались на Авентинском холме у закрытых ворот приората рыцарей Мальтийского ордена. Здесь совсем не зазорно и даже, наоборот, поощрительно было заглянуть в замочную скважину: в перспективе густолиственной аллеи, в самой точке схода виднелся оминиатюрный расстоянием собор святого Петра!

Но и не подглядывая, можно было найти там немало возвышенных мест с видом на вечность. Когда я смотрел на убитые мраморным гравием дорожки вдоль стриженных лавров и черно-зеленых кипарисов, я вдруг обнаружил, что у меня по лицу текут слезы. Полный молитвенный мир на душе, а я плачу и сам не знаю, отчего: то ли от исполненности моих путей, то ли от жалости к тем, кому уже никогда не изведать подобного, то ли от стыда перед ними.

Мои прогулки по Риму — одиночные или совместные со Славинским, с Анной Доно, на квартире которой мы остановились, были счастливым и жадным поглощением впечатлений, иногда чрезмерным. От их приизбытка я буквально почти не ел, уверяя разочарованную хозяйку, что итальянская еда мне нравится только в американском исполнении, — не очень любезное объяснение, как я теперь погляжу. Но на привалах, когда ступни начинали гудеть, я научился заказывать *caffè corretto*, то есть крепкий кофе, подправленный граппой, и ноги несли дальше, хотя все равно к вечеру хотелось их поскорей отвинтить и выбросить.

Мне кажется, мой друг испытывал скачки чувств, подобные моим, переживая заново свое недавнее прошлое и жесткое по разным его обстоятельствам приземление в этом месте, может быть, лучшим из всех на Земле. Но была у нас постоянная оглядка на тот край, который мы оба покинули. И я снова вспомнил про все свои паспорта — белый, синий и красный... Теоретически можно было бы слетать на денек из аэропорта Леонардо да Винчи в аэропорт Пулково-2. Туда по красному, обратно по белому и еще успеть к рейсу через Атлантику до дома — по синему.

— Красивая схема, а, Славинский?

— Что ты, что ты, забудь — прямо в Пулкове и заметут! Лучше давай вот что сделаем: как раз сегодня...

И он предложил мне совсем другое приключение: вечером прибывает в Рим ансамбль «Виртуозы Москвы». (В моей голове тут же вспыхнуло отраженно — «Виртуозы Рима», приехавшие на гастроли в Москву и Ленинград в начале 70-х. «Времена года» Вивальди. Мы с Галей Руби вопим, как зарезанные, «браво» вместе со всем залом. Через день на

абонементном концерте в Малом зале за два ряда от нас переводчик Иван Лихачев, с шарфиком под пиджаком, шепчет, целуя ручку даме: «Простите, я потерял голос, крича “браво” на “Римских виртуозах”!» А в проходе вдоль левой стены стоит Бродский, прошедший по входному билету. Голову его прикрывает рыжий паричок — деталь, прежде не замеченная биографами... Дарю!)

— Среди «Московских виртуозов», — продолжал Славинский, — есть близкий друг Наймана, скрипач Толя Шейнюк. Он, как я понимаю, скоро свалит вообще. Но пока очень хочет увидеться, поговорить. Просит подхватить его из гостиницы.

— Ну что ж, подхватим... В чем вопрос?

— Надо незаметно оторваться от сопровождающих. Их понаехало не меньше, чем музыкантов.

Мы расположились, забившись в плюшевые кресла, в вестибюле одной из пригородных гостиниц. Интерьер — более чем скромный, виртуозы сидели на валютной диете. Пока ничего не происходило, мы ждали, а скука и бездействие сами собой перерабатывались во внутреннюю тревогу.

— Сидим, как в ментовке, — заметил мой многоопытный друг.

Наконец, почти бесшумно подкатил огромный элегантный автобус с глазами-зеркальцами на отлете, как у жука. С мягким пневматическим выдохом распахнул свои двери. Через вестибюль засновали деловитые фигуры, куда-то рассовывали чемоданы, баулы, продолговатые сундуки, суетились у грузового лифта. Эти — явно не виртуозы, потому что истинные музыканты, прижимая к груди драгоценные футляры, устремились к другому лифту.

— Ненавижу гэбэшников, — шипел сквозь зубы мой приятель.

— Не заводись, ты же теперь от них отвязан... — успокаивал я, а самому передавалась его нервозность.

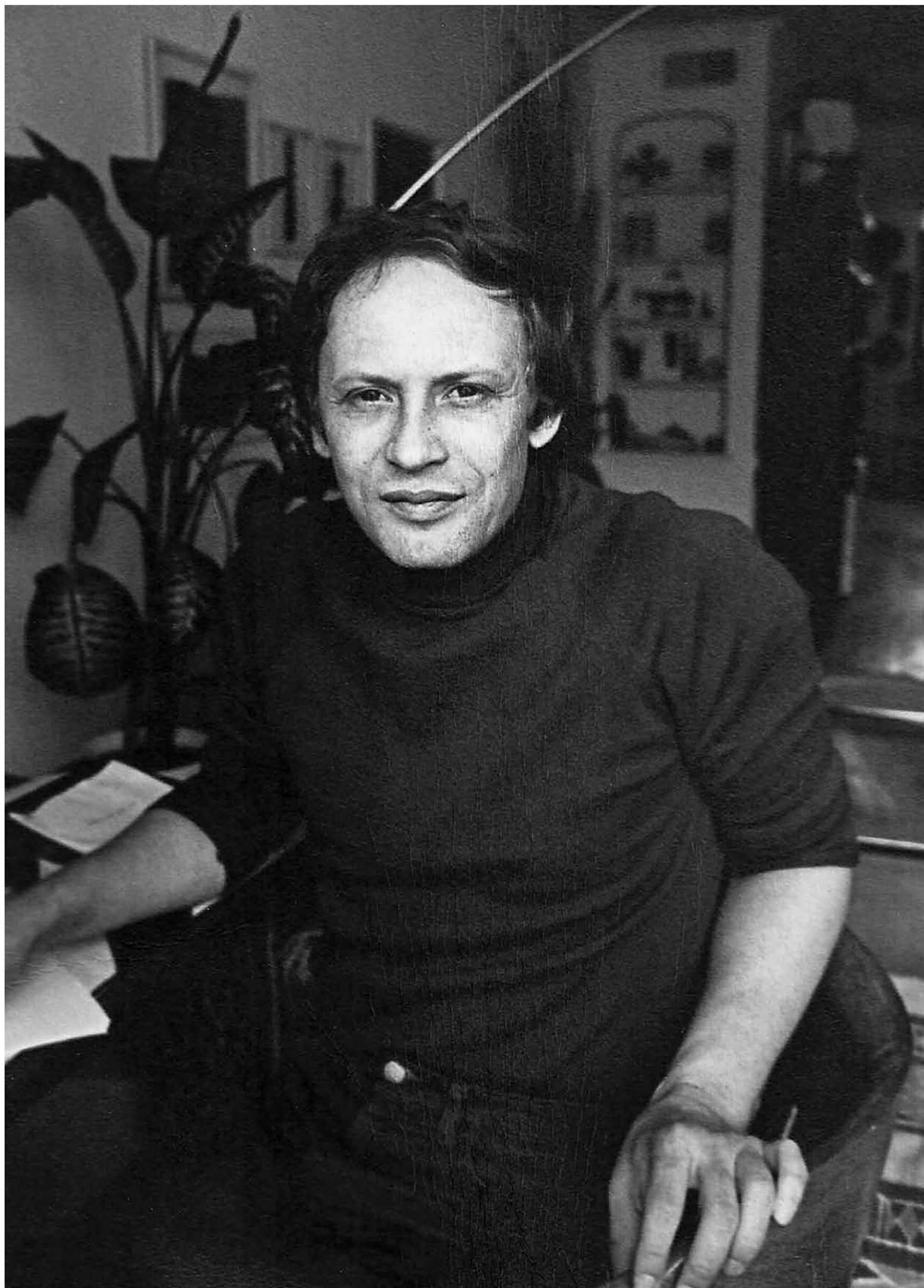
В сутолоке к нам подошел молодой, слегка лысеющий брюнет и вполголоса попросил подождать его на улице. Это и был Толя Шейнюк.

Там уже смеркалось. Мы успели выкурить по сигарете под сгущающейся тенью акации, пока не появился Шейнюк, и втроем зашагали прочь от гостиницы, вздохнув облегченно, лишь когда завернули за угол и схватили такси...

Он действительно сбежал, но не тогда, а через год на гастролях во Франции.

Русские римляне

Славинский, будто помолодевший Фауст (отдаю ему временно эту роль), вернулся на десять лет в свое прошлое и возобновил кое-какие итальянские



Перед отъездом из Милуоки, 1985 г.

знакомства. Мне пришлось мельком пообщаться с причудливыми соотечественниками, наподобие усмотренного из окна вагона «Константинова № 8», которые застряли вопреки (но и благодаря) здешнему законодательству на полпути своей эмиграции. Побывали мы и на толкучке «Американа» — по словам моего друга, это были жалкие остатки бывшего великолетия. Все ж с завидным упорством бывшие киевляне и житомирцы предлагали римлянам много нужных вещей: детские столики-стульчики из Хохломы, матрешки, фотоаппараты «Зенит» и ручные часы «Командирские».

В эти же дни в Риме находился кинорежиссер Андрей Тарковский со съемками фильма «Ностальгия». Ему помогал один из таких «отставших от поезда» полулегальных эмигрантов, который предоставил мне возможность по телефону пообщаться со знаменитостью. Славинский был прав, считая, что я дал слабину, уступив этому соблазну.

Дело в том, что кино я в общем и целом презирал как коммерческое искусство, хотя и делал некоторые исключения: фильм Дрюона «Страсти Жанны д'Арк», например. Что, впрочем, не мешало мне развлекаться движущимися картинками и при этом не угрызаться совестью от собственного лицемерия. А поэзии ведь я присягал! Но это и оправдывало мой искренний комплимент режиссеру, соединившему в одной картине оптическую иллюзию с красотой гармонического слова. Я имел в виду, конечно, голос и стихи его отца в «Зеркале». И, все-таки, что я хотел ему сказать? Что-то хотел, но не сказал, потому что почувствовал — не надо. Видимо, режиссер находился в колебаниях, звучал выжидающе и неуверенно, я был смущен его тоном, ожидая совсем другого. А он даже не знал, свидится ли с отцом.

Все объяснилось, когда так странно Тарковский завил свою судьбу: вырвался от ненавистных советских чиновников, приехал в Италию с целью снимать кино про... ностальгию по советской родине. И — решил остаться, чтобы поливать мертвое дерево в ожидании цветов и листьев, — таков был стержневой, позвоночный символ его последнего фильма «Жертвоприношение». И — умер от рака.

Ватикан

Славинский предложил мне вместо туристских прогулок сходить на симпозиум по Вячеславу Иванову, проходивший в те дни в Риме. Еще бы не пойти, не отдать должную почесть Вячеславу Великолепному! Ведь я вырос на Таврической улице, в тени его петербургской Башни, осенявшей мои первые попытки, так сказать, омузычить жизнь ритмами слов. У меня

осталось навсегда более чем земляческое — добрососедское и свойское отношение к башенному жителю и кругу его гостей. В мое время звезда Иванова и все его «звезды» и «тернии» были намеренно затемнены и отодвинуты в забвение — с одной стороны, акмеистами, «преодолевавшими символизм», и культуроборцами-будетлянами, а с другой — идеологическим литературоведением, вытаптывающим дорогу для пролетарской поэзии. Но для меня его стихи, сколько ни упрекали их в учености, книжности, сложности и прочих мнимых грехах, утоляли «духовную жажду», которой не я один томился. В них звучала одическая торжественность, а отважное (даже новаторское) корнесловие оживляло библейский словарь новым смыслом. Его стиль как нельзя более подходил к Городу, где он долго жил и умер.

Что же касается его теоретических работ, то, по моему убеждению, там до сих пор содержится столько еще невыработанной энергии и художественных идей, что их хватило бы на двести лет. Поэты! Это — для вас.

Симпозиум был устроен Римским университетом и международным обществом «Вячеслав Иванов — конквивиум», и высоколобого народища набралось немало. Славинский подсел к одной из слушательниц и стал настойчиво отвлекать ее от докладов. Вид у нее был вполне академический, я бы сказал — аспирантский: чистое свежее лицо без излишней сексапильности, хорошая фигура в строгой одежде. Я приуныл — мой друг казался для меня потерянным, по крайней мере, на сегодня. Доклады шли на итальянском, на французском, реже по-английски, — только не на русском. Заскучав, я двинулся к выходу. Но тут объявили перерыв, и толпа закружилась в кулуарах. Из нее вычленился мой потерянный друг, но один, без той славистки. На мой вопросительный взгляд он ответил вопросом:

— Помнишь любовную драму Германцева?

— Это про то, как его бортанула прекрасная Габриэла? Как не помнить!

— Так вот, это — она. Я уговаривал ее вернуться к бедному Герасиму.

— И что ж?

— Она и меня отшила...

— Вот и прекрасно.

В этот момент к нам подошел Алексис Раннит, он же Алексей Константинович Долгошев — высокий, седой, чернобровый, статный, полный достоинства и при этом доброжелательный. Эстонский поэт и совершенный образец всемирно русского человека. Он сказал:

— Приходите сегодня после полудня на виа Альберти, 25. Это на Авентине. Там на доме Иванова будет открыта мемориальная доска. А в пять часов



всех участников отвезут в Ватикан, на специальную аудиенцию к Папе.

— Но я ведь не участник...

— Так я вас приглашаю.

— Я с другом, мне неловко без него. Кстати, разрешите представить...

— Приглашаю вас обоих. Только нужно быть в галстуках. И, конечно, не в джинсах...

Мы радостно помчались в наше пристанище на Яникулум переодеваться.

— Славинский! Ты мне даришь Италию, а я тебе — Папу!

— Папульку, папульку!

Кроме джинсов, ничего у Славинского не нашлось. Пришлось выдать брюки попримичнее из моих. Галстуков этот битник вообще не носил. Отправились в модный магазин за галстуком, и — сразу — на Авентин к открытию мемориальной доски. А затем на сверкающем красавце автобусе — в Ватикан.

Встреча с понтификом была чудом, удачей и праздником одновременно. Прежде всего, убеждала его неоспоримая и столь очевидная святость. Это чувство пришло мгновенно и утвердилось в душе как факт. Среди вселенских дел нашлась у него минута дать святое благословение Димитрию, нерадивому батраку Божьему, и Ефиму, его другу-битнику, вследствие чего оба до сих пор живы и счастливо вспоминают этот момент.

Благословил он и агностиков Льва Копелева и Раису Орлову, там же находившихся. Орлова, жена Копелева, описала аудиенцию в книге «Почему я живу», и я думаю, что мое повествование выгадает от взгляда на то же событие другими глазами. Вот что ей запомнилось: «Папа вышел из боковой двери, лицо усталое, в первый момент даже показалось — больное. На нем — белая сутана, белая шапочка. Шел, чуть сутулясь, приветствовал нас по-французски (официальный язык Ватикана с XIX века — французский). Мы все встали. Прежде чем сесть, Папа нас благословил по-латыни: “Во имя Отца и Сына и Святого Духа”. Профессор Римского университета Колуччи (он читал доклад “Римские сонеты Вячеслава Иванова”) вышел вперед и произнес краткую речь на хорошем французском языке. Папа слушал, облокотившись на левую руку, неподвижно, внимательно. Лицо у него широкое, почти

без морщин. Лицо рабочего, или ремесленника, или сельского ксендза. Руки рабочие. Взгляд умный, временами хитрый, добрый. Такая же улыбка. Ощущение твердости. Большой лоб мыслителя.

Когда он начал свою речь: “Высокоцитимые профессора, дамы и господа! Я счастлив...”, мне показалось, что он исполняет некий заранее заданный ритуал, что все давно отработано, повторялось тысячи раз. Но уже со второй фразы он включился, словно нечто зажглось, с каждым словом он все более и более оживлялся. И было ясно: пусть эту речь со многими цитатами из Вячеслава Иванова ему написал ватиканский референт по русской культуре, Папа знал, что именно он читает, и ему это было важно. (Сообщу, кстати, так как даже многие участники симпозиума не знали точно, что Иванов принял католичество в 1926 году. Он эмигрировал в 1924-м, советский паспорт был у него до смерти. Став католиком, он не перестал быть православным, сказал, что отныне принадлежит обеим церквям. И был он не библиотекарем, как часто говорили в Москве, а профессором кафедры русского и старославянского языка и литературы Восточного института при Ватикане.)

Речь окончена, аплодисменты, все встают. Слушатель начинает бойко выносить стулья, давая понять, что другие тоже ждут. Но никто не спешит уходить. Подходят поцеловать руку, подходят под благословение, среди участников много ревностных католиков, для них этот день совсем особый, как, впрочем, и для всех нас. Несколько слов подходящие говорят наедине. Лев говорит по-польски:

— Святой отец, благодарю вас за ваши прекрасные слова, прошу вас молиться о Сахарове и прошу вас поднять свой голос в защиту друга человечества Андрея Сахарова...

— Спасибо, знаю, обещаю... — отвечает тоже по-польски, руку жмет обеими руками. В конце я тоже подошла и произнесла еще раз имя АД (Андрея Дмитриевича Сахарова. — Д. Б.).

Потом все фотографировались вместе с Папой. Нам раздали подарки, иллюстрированные книги — поездки Папы. Все потрясены. Бобышев — Льву:

— Лев Зиновьевич, вы ощутили благодать?

— Я в таких категориях не разговариваю.

Но нечто всех объединяющее мы и впрямь ощутили».

Продолжение следует.



Александр Борисович Махов — человек потрясающе одаренный. Правда, сдается, что об этом в Италии знают больше, чем на его родине. На Апеннинах в 2004 году президент Италии Чампи вручил ему золотую медаль за вклад в культуру Италии, а у нас 80-летие прославленного писателя прошло незаметно. Ну что же, с полным на то основанием можно сказать, что он разделил судьбу многих великих итальянцев, о которых пишет, — Леонардо да Винчи, Микеланджело, Вивальди, Тициана, Рафаэля, Караваджо и многих других.

В свое время Александр Борисович учился музыке, потом окончил Институт иностранных языков, но дипломатическая миссия не заслонила от него интерес к итальянской культуре. Его перу принадлежат не только найденные им и переведенные мудрые сказки и легенды Леонардо да Винчи. Подарок детям — любимый многими «Джельсомино в стране лжецов» Джанни Родари. А «Дневник Микеланджело Неистового» Криччо Фанелли с предисловием Ренато Гуттузо — огромный научный труд, очень сложный, красивый и необыкновенно интересный.

В переводе Александра Махова впервые на русском языке вышла вся лирика Микеланджело Буонарроти с необыкновенными по изяществу сонетами и глубочайшей мудрости поэтическими размышлениями о природе человека, творчестве, бытии.

Талантливый переводчик, проводник великого наследия, сам не может быть не кем иным, как необыкновенным художником слова, литератором, поэтом.

Талант, как известно, — вещь разносторонняя и многогранная. Во времена «физиков и лириков» его творческая натура обратилась к точным наукам. С того времени и по сей день в высших технических заведениях Италии очень ценятся переводы с русского на итальянский общим числом больше пятидесяти учебников и монографий, среди которых десятитомник «Теоретической физики» Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица, пяти томник «Курса высшей математики» В. И. Смирнова, «Квантовая механика» А. С. Давыдова и многое другое.

Маятник времени неумолим и качнулся назад. Переход Александра Махова из математики в лирику столь же органичен, как и у великих итальянцев.

ЮБИЛЕЙ МАСТЕРА

Надо ли говорить, что итальянский он знает едва ли не лучше самих итальянцев, уже не говорящих на диалектах, которыми свободно владеет Александр Борисович. В Венеции, возле Сан-Марко, его принимают за своего венецианца, в Риме на площади Венеции — римляне. Махов — полная и живая энциклопедия средневековой, ренессансной и современной Италии, в которой умещаются венецианская школа живописи, Антонио Грамши, Альберто Сорди, Федерико Феллини etc.

Несколько лет тому назад на свет появился уникальный двуязычный двухтомник лирики Джакомо Леопарди — такого полного собрания опять-таки в России еще не было, а также дневники этого и по сей день одного из любимейших и значимых поэтов Италии. К списку замечательных достижений следует добавить переводы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим», поэзию Папы Римского Иоанна Павла Второго (Кароля Войтылы) и многочисленные более мелкие работы, перечислять которые нет места.

Талантливый искусствовед Александр Борисович Махов в свое время взял на себя труд составить для издания в России историю итальянского искусства от художников XIII века до современных мастеров. А последние годы он успешно работает над книгами из серии «Жизнь замечательных людей», среди которых только один перевод — Вивальди, а остальные — авторские труды о Тициане, Караваджо и Рафаэле. Каждая книга представляет собой полную энциклопедию не только биографий этих великих мастеров, но и разностороннюю и живую, яркую картину их эпохи. Замечательный писатель Махов превращает биографические сведения, сухие архивные материалы в занимательную авантюрную историю.

А еще Александр Борисович — член редколлегия журнала «Юность», он возглавляет отдел культуры, поэтому Махов — наше культурное достояние!

Итальянцы высоко оценили вклад Александра Борисовича Махова в культурное развитие своей страны, а «мы — ленивы и нелюбопытны».

Auguroni, саго Александр Борисович!

Редколлегия журнала «Юность»



Евгений Чириков. Портрет работы И. Репина (1906)

«ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ!»

— ...Только два годка и прожила я с мужем-то: мне родить, а он у белых воюет. А как белым конец пришел, он и утек с ними за море. Я сперва-то все надеялась, что вернется, а потом вижу — нет худа без добра: такая злоба у нас на земле русской, что все одно — жив не остался бы. Ну, голубчики мои, куда ребеночек жив был, я и разлуку терпела, смирялась. Ребеночек, как ангелочек Божий, в утешение мне был послан. Да, видно, не захотел мой ангелочек с нами в такой злобе и безбожии на земле оставаться: по третьему годку на небеса к Господу отлетел. А помер мальчончек, и — тоска стала душу грызть. Что я стала? Ни девка, ни вдова, ни мужняя жена. А на земле такое безбожие окаянное, что и поплакать-то хорошенько не дают. Мор да голод, пожары да расстрелы, а к тому же женщина я была молодая, из себя для мужского полу приметная; разные красные начальники стали приставать, смущение в женскую душу закидывать: «Дура, дескать, неизвестно для кого себя бережешь, года уходят, красота завянет, спохватишься, дескать, а поздно будет...» Ну, и всякое разное. Однако Господь сохранил от соблазну-то этого бабьего — с красным не

опоганилась. Может, и случилась бы беда, да вовремя такой случай вышел: проходил нашими местами странник Божий, вроде как святой человек. Вот я к нему подошла, спросила, будет ли конец сиротству моему. Вот он, милые мои, и говорит мне: для тебя, говорит, разлука кончится, когда ты тысячу верст по чужим землям исходишь, на тысяча первой версте с мужем встретишься. А потом подумал и пострадал: торопись, говорит, женщина, зрю, говорит, на путях его чужую бабу: ищет, ч е г о не теряла. И вот, голубки мои, от слов тех я и опомнилась, вся греховность с меня соскочила, и такая тоска смертная по мужу разгорелась, что — ни есть, ни пить, целый день о нем думаю, а ночью во снах его вижу. И чужая баба-разлучница виделась тогда вроде как краля червонной масти. Еще годок в тоске да во слезах прожила — не могу дальше! Хоть руки на себя накладывай. А у нас, милые мои, святая могила есть: бабы-то все поплакать на нее ходят. Батюшка наш, отец Миколай убиенный, в ней покоится. Вот, я пошла туда под вечерок, плакала, плакала, да и заснула на травке-то. Сладко так заснула. И вижу, милые мои, корабль на водах, а на том корабле — наш батюшка Мико-

лай стоит и меня рукой манит. Проснулась это, а уж ночь. К чему, думаю, мне батюшка наш убиенный во сне на корабле явился? Пошла к матушке, попадье, и рассказываю ей про сон этот. Сподобилась, говорю, мужа твоего узреть, и прочее. К чему бы это? Она и говорить: либо помрешь, либо за моря-океаны пойдешь. И что же, милые мои! Несколько дней прошло, у нас слух прошел, что одна женщина к мужу в Болгары ехать собирается. Я — к ней. Возьми меня с собой — пойду мужа искать. Не иначе, как и мой там же, в Болгарах. Вроде как ополоумела. Тут уж надо, милые, и в грехе покаяться: знала я, что старик-свекор деньжонки на погребение в балакире¹ зарыл, подлинные царские, золотые. Прости, Господи, мое согрешение! — вырыла я те деньги и убегла в Шаловку, откуда одна такая же вдова, как я, грешная, к мужу за моря-океаны собралась уезжать. Та всякие документы выправила, а у меня никаких бумажек на руках нет. И опять же Господь помог. Приехали мы с Пелагеей в Севастополь, а на корабле у ней кум матросом. За три золотых согласился он меня за свою жену спрятать от начальства. Целые сутки в какой-то дыре темной сидела, чуть не задохнулась, а потом, как вышла ночью, в каюте для угля спрятал. Страху натерпелась — не расскажешь. Вроде как Иона во чреве китовом. Как мертвая валялась, думала, смертушка моя пришла. Родить легче, чем по этим окоянам ездить! Не помню, как и доехали. Только меня опять в дыру посадили, целый день, как в могиле, лежала, а ночью матросик нас с Пелагеей на лодку посадил и на землю доставил — еще один золотой отдала. Думали мы с Пелагеей, что в Болгары приехали, а оказалось — к басурманам-туркам попали, в самый их первый город, Константинополь. Куда ни погляди, по всем горам — мечети одни. Что, мол, нам теперь делать-то? Ходим-бродим и диву даемся: будто русские люди идут из военного звания. А все-таки сомневаемся, потому что на одном-то шапка-то не наша, а турецкая. Обгоняют это нас на мосту, и слышим вдруг, что по-нашему, по-русскому, матершинят. Так сердечко от радости и закатилось! «Православные?» — спрашиваем. «Так точно, православные, а вы отколь взялись, бабыньки?» Ну, разговорились. Поезжайте, бают, в Галиполию², там наша армия укрепились. Научили, как в эту Галиполию попасть. На пароходе опять наших обнаружили, тоже туда едут. Слово за слово и приехали в Галиполию. На первый двор пустили, а

¹ Балакир — сосуд из глины, горшок.

² Прав. *Галлиполи* — местечко в Турции, где в течение нескольких лет проживали более двадцати тысяч россиян, покинувших родину вместе с остатками белой армии. Здесь нашли свое последнее пристанище более четырехсот русских офицеров и членов их семей.

дальше нельзя. Офицер приказал справку навести. Долго сидели — ждали. Пелагея мужнино письмо показала. Прочитали это письмо и дурой ее обозвали: тебе, говорят, написано, что в Болгары надо ехать, а ты сюда пришла. А у меня никакого документа нету. Привел солдатика и говорит: есть такой казака, Ивана Севрюгин. Да мой-то не казак, — говорю, а впрочем, все может быть. Ведите, говорю, его сюда, поглядеть. А сама вся как в лихоманку дрожу. Много ли времени прошло — не помню, привели казака. Какая, говорит, жена, которая? А я поглядела: не м о й! — и заревела. А кругом солдатика хохочут да шутят: признавай, говорят, вот эту, покрасивее-то! Про меня это. А один, постарше, пожалел меня. Ты, говорит, не реви: мы тебя безо всяких документов к мужу доставим. Покуда в кухарках у нашего полковника послужишь, а на будущей неделе от нас партия на работы в Болгарию отправляется. Всунем, говорить, в вагон, и за багаж доведем в Софию премудрую — город такой, где у них царь живет. Ну и осталась. И прошла неделя, я с казаками и уехала. Чуть свет выезжали. Солдатскую шинель мне на плечи накинули и в вагон протолкнули, в угол — меня, а сами — как пчелы около матки. Сперва-то которые охальничали, да опять заступник нашелся. Оставили. Приехала в Софию премудрую, стала мужа искать и дозналась, что он в чехи уехал. Не надо было, видишь ли, ехать-то, а надо было святого странника послушаться — пешком идти. Что делать? Сказали — надо в город Прагу отправляться. А без документа разрешения не дают. Одной идти — страшно, да и дороги неизвестны. Стою раз в русском храме (болгары-то нашей веры же, православные!) и плачу. А выхожу, военный человек подошел. «О чем плачешь?» — спрашивает. Объяснила ему горе свое, а он ласково посмеялся и говорит: пустое дело, мы, говорит, безо всяких документов в чехи ходим. Попутчик найдется. Пожила в Софии премудрой около месяца, а там и такой человек нашелся. Казачок. Тоже неразрешенный. Я, говорит, два раза безо всяких документов в чехи ходил и опять скоро пойду. Ну, за ним и увязалась. Да вот в Праге и живу покуда. Я в Прагу, а муж вот уж с полгода как в город Париж уехал. На заводе там работает. Выходит, что святой странник правильно сказал: покуда тысячу верст пешком по чужим землям не исхожу, мужа не увижу. Значит, не исхожено, что положено. А только теперь уж спокойна: мужа отыскала, зовет к себе и скоро должен денег мне выслать. Золото-то мое краденое впрок не пошло: половину в дорогах истратила, а остальные украли, а может, из чулка вывалились. Вот и работаю покуда. Русского народа здесь множество. Где белье постираю, где полы мою, где уголь по лестницам таскаю... А все-таки



другой раз и поплачу. Надо бы торопиться, а денег что-то не высылают. Бог раздумье и берет. Пошутил он в письме-то: приезжай, говорит, скорее, а то и на хранцузинке могу жениться. Вот и гробится мне: не та ли это баба чужая, хранцузинка, про которую святой странник мне загнул?..

— Ну а как дома-то, в России, живетса народу?

— Тяжко было, милые мои, ох как тяжко! Ну а потом полегче стало, и как мы молимся «да святится имя Твое...», так по молитве нашей и стало делаться. Отстрадали за грехи свои, и Господь о нас опять вспомнил... Опять своих заступников посылает. Святится имя-то Божие заново...

— Как же святится-то?

— А вот послушай, что я тебе расскажу... Как брань междоусобная шла, всяких ужасов нагляделись. Словно и не Господь Бог, а сам Сатана землей правит. Три раза мы горели и сгорали, почитай, дочиства. Только за речкой уголок остался. И было так, что будто и совсем конец пришел: кого убили, кто ушел, кто от глаза или мора пропал. А потом глядишь — опять сползаться и строиться начали. Люди — как муравьи. К месту привыкнут, никакими ужасами не отгонишь. Жителей, по сравнению с прежними годами, не так теперь много, а опять на село похоже. Одно горе у нас: церкви не стало. Не боялись ведь люди Бога-то: когда бои у нас шли, на колокольне пулеметы ставили. Ну, Господь и отнял храм-то свой: спорела церковь, а новую поставить сил не хватает. Так без храма Божьего и жили. А только в заречной части на кладбище — часовня осталась, там и молимся. Когда случается чужого батюшку заручить, и служба там бывает. Тесно только. Человек так пятьдесят набьется, а всем другим на воле стоять приходится. Плачут теперь люди за молитвами. Да и как не плакать? У кого сына, у кого брата, у кого мужа либо отца загубили, а даже и могилы нет, и поплакать сходить некуда. Раньше и молиться-то боялись, укрывали душу-то, ну а теперь молятся да слезами свою молитву поливают. Хотя гонение на веру и на священников не кончилось еще, а все-таки смелости у безбожников куда меньше стало. Теперь на могиле нашего убиенного отца Николая крест дубовый поставлен, а раньше и могилу-то в тайне сохраняли.

— За что же его убили?

— Сын у него к белым в офицеры ушел. Погоны офицерские в дому нашли... О Господи — и вспомнить-то страшно! Тогда еще церковь была. В самую Пасхальную ночь прискакали. И всего-то их человек пятнадцать было, а только пулемет при них.

Уж как у нас народ батюшку любил, а тоже отрекся, как апостол Петр от Христа. И подлинно так было: мучили и пытали отца Николая, а в это время

петухи по селу кричали... Не дали ему Святой заутрени отслужить, выволокли из церкви в облачении и бить стали в ограде. А народ поодаль стоять, в себе ропщет, а молчит. Слышала я, как батюшка им сказал: плоть, говорит, мою погубите, а душу мою вознесете, свою же душу, как разбойник нераскаянный, погубите. Его бьют, а он «Христос воскрес» запел. Начали, было, которые посмелее, батюшке подтягивать, да разбойник из револьвера выстрелил и хотя никого не убил, а испугались и распозаться из ограды начали. Одна попадьа-старушка наша вступилась, так ее двое силком уволокли куда-то. Ночь темная была. Мы в темноте сокрылись и смотрим: разбойники батюшку к попову дому потащили. Фонари-то туда поплыли. Батюшка-то молчит, а только ругань матерный да крик разбойничий носят на площади. Я к поповому саду, спряталась у прясла¹ под березами и слушаю. Батюшку сперва в дом затащили. Огни там, шум, беготня, хохот. Как видно, разбойники там пируют за пасхальным столом-то; потом вопль из раскрытого окошка и стоны: видно, пытать муками стали. А потом стихло все, и только опять петухи в разных концах петь начали. Вижу — фонари из дому во двор поплыли, а потом два раза выстрелили, и гурьбой из ворот пошли. Испугалась я и убежала, да всю ноченьку и трясло меня от этого ужаса. Ускакали на другой день разбойники. Пришли мы на попов двор поглядеть и нашли около плетня убиенного: волосы острижены, бороды тоже нет, донага раздет, а на плечах золотые погоны гвоздями прибиты... Матушка сперва убиенного в саду спрятала, потом облачила его, и ночью на третий день погребли в уголку кладбища и могилу так сокрыли, что и нет будто ее. Никакого знака не сделали. Боялись: вернутся разбойники, над могилой и телом убиенного надругаются. Однако Господь этого не допустил и сам знамение на могиле сделал. Приходит это матушка на могилку поплакать, а на ней три свята маку красного распустились! Никто не сажал, а сами выросли. Сорвала матушка один святочек, а из стебля-то кровь каплет. Испугалась она, святок обронила, на колени упала и от страха память потеряла. А как в себя пришла, поглядела: нет никаких святых! Однако на рукаве капля крови от свята осталась. Потом, к осени, на могиле той иконку неизвестного святого сторож церковный нашел. Пригляделись к лику-то, а он с убиенным схож. Иконку в часовенке кладбищенской поставили, и народу повалило со всех сторон к той иконе явленной! Приехал из городу начальник безбожный, думал ту иконку забрать, а она не далась: пропала. Он со своей

¹ Прясло — ограда из горизонтально положенных жердей, очищенных от коры.

командой народ распугал, пострашал, что часовню спалит, и уехал. Три дня прошло, а икона опять на своем месте... Опять начальство приехало, и опять иконка пропала. Дознание делали, обыски, а ничего не обнаружили... Вскорости белые стали подходить, у нас красные село заняли, и на колокольни пулемет поставили, стали оттуда палить. Из церкви Божией казарму сделали: и спали, и курили, всю церковь заплевали и загадили. Белых отогнали и сами от нас ушли, а ночью, словно гром, что-то в церкви ударило. Поглядели, а вся церковь — как столб огненный. Деревянная была, как свеча сгорела. А на третий год после убиения отца Николая вот какое у нас чудо случилось. Опять под Пасху же было. Очень нам хотелось заутреню в нашей часовне отслужить, да священника свободного не нашли. Собрались так помолиться, «Христос воскрес» всем миром пропеть. Ночь хотя и темная была, а тихая и теплая. Кто с фонарем, кто со свечечкой в горсточке к часовне сползлись. Народу много из хуторков на телегах съехалось. Раньше, бывало, всех знаешь, а теперь народ как река льется: новых людей и всяких проходящих много. Старики в часовне с ребятишками малыми стали свечечки пред иконами вздывать, лампадочки затеплили, а полночи еще нет... Колокол-то церковный после пожара сюда перенесли да на столбах поставили. В часовню не втиснуться, народ около нее кругом. Все жалеют, что батюшки любимого нет. Отслужить заутреню некому. Были которые от обиды этой и плакали. И вот, милые, идет к колоколу неизвестный старик, Божий человек, с котомкой за спиной. В темноте-то и лица не разглядеть, а только борода серебрится под звездами. Ударил трижды в колокол, потом котомку с плеч снял, вы-

нул из нее облачение духовное и пошел в часовню. Народ дивится, пропускает неизвестного священника в часовню, и вдруг это из нее странный попик с крестом выходит, за ним священную хоругвь паренек несет. Запел неизвестный «Воскресение Твое, Христе Спасе», и все за ним запели, пошли Христа встречать. Радость была такая, что плакали от нее все бабы! И потом обратно к крыльцу. И тут объявил: «Христос воскрес!»

— Воистину воскрес! — закричал народ, и началась заутреня. А свечечки у нас маленькие, да тоненькие догорели. Только три лампадочки в часовне трепыхаются красными звездочками, и ничего не видать. Я в часовню-то не протискалась, а у крылечка топырилась, а кто был, т а к рассказывают. Кончилась заутреня, святой странник стал к образам прикладываться и пропал. А кто говорит, что он снова в странника обратился и опять со своей котомочкой с народом смешался, а как ушел, никто не заметил. И потом слух у нас прошел, что которые близко к тому страннику были в часовне, так заметили, что лик-то его сходствен с убиенным отцом Николаем был... Может, его Господь к лику праведных своих мучеников сопричислил и нам в утешение временно прислал, а может, какой другой неизвестный святой это был. Много их стало теперь по земле ходить. И все в образе странников. Церквей Божиих много опоганили да закрыли, монахов разогнали, много убиенных из духовного звания мучеников, а много и таких, которые не пожелали красной печати принять и, сокрыв свое духовное звание под одеждой странников, блуждают по земле русской. И от них святится Имя Твое, Господи, и через них мы, грешные, к небесам приближаемся...



Следуя призыву на сайте «Юности», посылаю несколько своих стихотворений. Было бы очень интересно узнать ваше мнение о моей поэзии, и, конечно, я буду просто счастлива, если вы решите что-нибудь опубликовать в моей любимой «Юности».

Пару строк о себе. Родилась в 1976 году. Окончила МГУ и магистратуру Оксфордского университета по специальности «классическая филология». Автор сборника «На маскараде душ» (1993), переводов с новогреческого «Мечта в волне» (А. Пападиамантис, 2000) и сборника «Осколки» (2010), который был заказан библиотеками Оксфорда и Херсона.

Моя Одиссея

Рассеян по морю, по миру рассеян
Мой путанный призрачный след.
И длится, и длится моя Одиссея
Уж многое множество лет.

Ну что, Одиссей, поплывем на Итаку —
На запад, на север, на юг?
Нам, в общем, с тобою не в новость — не так ли? —
За кругом наматывать круг...

И знать хорошо, что по волнам рассеян
Наш жизненный путанный путь...
Слукавил поэт — и домой Одиссея
Уже никогда не вернуть.

Я вернусь. Обязательно вер...

Черноморские дали.
Дикий храп кобылиц.
Звон отточенной стали.
Кровь.
Я падаю ниц.
И на тунике белой —
Темно-липкий узор.
Принимай мое тело,
Херсонесский простор.
Белокаменный град мой,
Смесь народов и вер.
Я вернусь. Я обратно
Обязательно вер...

Полонянок уведят
Босиком по стерне

На чужбину, в неволю.
Крики.
Топот коней.
Уж и ноги ослабли,
Не шагнуть мне, хоть вой.
Янычарские сабли —
Над моей головой.
Я крещусь троекратно
Все... кончай, изувер...
Я вернусь. Я обратно
Обязательно вер...

Вот и все. Докурили.
Чай допили. Пора.
Расставания, мили...
Может, это — игра?
Полсудьбы — на перроне,
Путь веревочкой свит.
И — без всяких ироний:
«Приезжай». — «Доживи».
О измученный град мой,
Смесь народов и вер.
Я вернусь. Я обратно
Обязательно вер...

Неверность

Что такое неверность? Проклятье в крови?
Иль мечта о свободе? Иль жажда любви?
Пульс, стучащий в виски? Смесь вины и тоски?
Иль распущенность, низость?.. Дрожанье руки...
Как стаккато, шаги... Красный след на губе...
Иль неверность другим — это верность себе?

Александр СЕРГЕЕВ

Уважаемые сотрудники редакции! К вам обращается аспирант экономического факультета СПбГУ Александр Сергеев. Хочу представить вашему вниманию подборку стихотворений, написанных в течение нескольких последних лет.

Будучи читателем вашего журнала, зная его традиции, я считал бы за честь быть опубликованным на его страницах.

С уважением, Александр Сергеев

Поминки

Слёзы текли
Возле могилы.

Рядом молчание,
Полное грусти,
Скупое сочилось
Соком сочувствия.

Скромный участок —
Ушедших прибежище,
Мал был, как краткая
Заповедь вещая.

Но, как пророчество,
Ставшее явью,
Ширилась площадь
Участка бескрайнею

Степью лишь силами
Переживанья
Непереносимого
С *ними* свидания.

И заболело сердце
У неба, и закололо иглой сострадания,
И приоткрылась горная дверца,
И окропило землю печальными,
Но позывными живыми дождинками,
Словно «Я здесь» — тихо пропелось,
И разрыдалось, дольних выкликивая,
Небо, уткнувшись в осеннюю прелесть.

Всеми своими
Стихиями строгими,
Всем веществом
и всем существом
Небо вполне осязаемо тронуло
Страждущих, ждущих влиянья основ
Жизни и смерти,
суши и тверди —
общего имени!

Небо омыло
Лики и лица,
Едкость слезы своей влагой разбавило,
Оздоровило усилием праведным
Дольних, дало им вдоволь напиться
Всеочищения качеством милым.

Сосны, как свечки, свеченье дарили,
Воздух — привкус вина и просвиры.

Слёзы текли
Возле Горнего Мира.

Пастух

(из Уильяма Блейка)

Сладка же доля пастуха!
С утра до вечера он бродит,
За стадом следуя всё время,
И песнь хвалебную заводит

О гласе искреннем ягнёнка,
О том, как тих овцы ответ;
Он наблюдает их смиренье,
И ощутим тот взгляд вослед.



Людмила САНИЦКАЯ

22 июня

Прозрачная речка
 в зелёных ладонях осоки.
 Мерцанье и трепет,
 и блеск молчаливых стрекоз.
 Плывущее небо
 огромно, светло и высоко.
 И смерть невозможна,
 и нет ни обиды, ни слёз.
 Ромашковый дуг
 нас с тобой укрывает по пояс.
 Июньскому полдню
 сегодня не видно конца...
 Но где-то вдали
 закричал прибывающий поезд,
 В котором на фронт
 навсегда мы проводим отца.

* * *

Век детства, мой полузабытый дом
 Ни золотым не назову, ни даже медным.
 Нахмуренный, как очередь за хлебом,
 Он улыбался редко и с трудом.

Без преданных анафеме забав
 Я в нём жила растением непригожим,
 Приобретая стойкость и похожесть
 На тысячи дикорастущих трав.

С косицами и чёлкой озорной,
 За школьной партой первой ученицы,
 Я научилась между тем гордиться
 Россией — замечательной страной.

И вот теперь, спустя полсотни лет
 По времени, а по душе — полтыщи,
 Я всё ещё порой ступаю в след
 Той девочки — счастливой,
 гордой,
 нищей...

Деревья

Деревья, примите меня в свою стаю!
 Деревья, во сне я ведь тоже летаю.
 Как вы, отрываясь с листвой от земли,
 В которую всем существом проросли.

Деревья, у вас терпеливые души.
 Внимать вам и шелест, как музыку, слушать,
 К шершавой коре прижимаясь щекой,
 Вдохнуть вашу мудрость, печаль и покой.

Деревья, сомкните шумящие кроны,
 Укройте всех нас, неразумных, зелёных,
 Пока ещё к вашим корням не ушли.
 Пока есть деревья у нашей земли...

Красный Бор

Длинноногие мальвы
 раскрыли цветки-стетоскопы
 И слушают воздух,
 наполненный ритмом дождей.
 У медлительных дней
 ничего от изысков Европы,
 Но живёт палисадник
 без всяких мудрёных затей.
 Он баюкает душу,
 он помнит заветное слово
 И затеплит свечу,
 если боязно будет заснуть...
 А за кромкою леса,
 в берёзовой мгле и сосновой
 Ворожит нам речушка
 с языческим именем Мжуть.

г. Москва

Михаил БАЛАКИН

Михаилу Балакину, появившемуся на свет в деревне Аверкиеве под Рязанью, судьба самим фактом рождения на земле Есенина и Полонского предназначила петь. Даже профессия врача помогла ему в этом. Видимо, врачуя тело, облегчая человеческие страдания, доктор привык заговаривать от боли и душу несчастного человека. Балакинские стихи — заговор, распев. Песня эта кажется сродни искусству древних врачей-целителей, наследников бога Асклепия. Недаром рязанец Михаил Балакин, словно греческий кифаред, поет свои стихи под гитару. Он чарует сердца своих слушателей, исцеляет их добрым словом.

Непостоянство

Вниманьем женщин я не обделен,
Но узами любви ни с кем не связан.
Непостоянностью своей
Непостоянству женщины обязан.

Покуда будет биться сердце,
Покуда, грешный, буду жить
Со сладострастной истомой
Я буду вновь и вновь любить.

Я, что глухарь, за дивным пеньем
В току не слышу ни шиша.
Всё рвётся к подвигам любовным
Эх, моя грешная душа!

Спас-Клепики

На холмах меж трёх дорог
Приютился городок.
Я б хотел его прославить,
След в истории оставить.

Небольшой, но всё же славный
Городец наш православный!

Здесь в былые времена
Паустовский вдруг случался,
А в церковно-приходской
Сам Есенин обучался.

Да при въезде из Рязани
Бюст Есенина стоит.
Над певцом земли Рязанской
Клён с берёзкою шумит.

В такт певцу земли Рязанской
Я тихонько подпою

Про Спас-Клепики, про родину
Да про малую свою.

И меня, быть может статья,
Без вниманья не оставят.
Пусть хоть маленький, но всё же
Бюст мой рядышком поставят!

Завьюжило

По-над лесом бродит вьюга,
Кружит ведьмою замаять.
Мою влюбчивую душу
Никому уж не унять.

Я иду к своей любимой
По нехоженным снегам,
И от леса стон и скрежет
Слышу я по сторонам.

То не вьюга завывает —
Кружат ведьмы надо мной.
Взбудоражили мой разум
И увлечь хотят с собой.

Не трудитесь, злые ведьмы,
Душу я вам не продам.
Сберегу её для милой,
Ей за взгляд один отдам.

Осеннее настроение

Холодно мне, одиноко
На зябком колючем ветру,
Нет ни веселья, ни радости
Без Вас на осеннем пиру.



Души Вашей храм светился,
В него мне уже не попасть.
Меня в этом мире согреет
Земная духовная страсть.

Но время настанет, и страсть не согреет,
И стану я праведно жить.
Вот только Всевышний оставил бы времени,
Чтоб смог я грехи искупить.

Юрий ШАТРАКОВ

ЗАБЫТЫЙ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР

ПОВЕСТЬ

1.

Эта небольшая повесть — дань уважения величайшему русскому полководцу, о котором неблагодарные потомки поспешили забыть — даже в том самом городе, где он был губернатором и где ныне собираются возводить гигантский Охта-центр...

Европа в середине XVIII века бурлила войнами. Между коалициями стран то и дело разгоралась вооруженная борьба не только за господство на континенте, но и за колонии. После молниеносного захвата Фридрихом II Силезии население Пруссии, как и ее территория, возросло вдвое. Теперь эта страна могла противостоять практически всем державам Европы. Такое положение не устраивало Австрию, Францию и Россию. Поэтому в Версале срочно собрались дипломаты трех стран и подписали договор для противоборства Пруссии. Оценка военного потенциала стран коалиции позволяла дипломатам считать, что они более чем в два раза превосходят противника по силам.

Жребий был брошен, война началась. Но мудрый Фридрих II не дрогнул, он не боялся воинствующих трех дам — Елизаветы, Марии-Терезы, Помпадур — и решил ценой жизни своих подданных преподать дамам урок владения стратегическим боевым искусством.

В сентябре 1756 года Россия по указу Елизаветы ввязывается в войну. Андрей Степанович Милорадович со своим полком занимает позиции на западной границе Империи и в этот же день получает приказ главнокомандующего Степана Федоровича Апраксина сдать дела и командование другому командиру и прибыть в штаб для исполнения особых поручений.

Такой поворот в карьере молодого командира объяснялся выдающимися способностями, знанием европейских языков и, видимо, родословной. Так началась военная и государственная карьера Андрея Степановича Милорадовича.

Получив из Конфедерации приказ о начале военных действий,

Апраксин выдвигает корпус генерала В. В. Фермора к Гросс-Егерсдорфу и при поддержке Балтийского флота одерживает первую победу. Подробный доклад о сражении высший офицер по особым поручениям Милорадович срочно доставляет в столицу. Но до императрицы он не доходит, она тяжело больна. Опечаленный этим Милорадович возвращается в армию.

Апраксин — искушенный в придворных интригах человек и в то же время выдающийся генерал. Он понимал: если Елизавета умрет, то Петр III немедленно заключит мир с Фридрихом II. А его за особое рвение в боях с супостатом ожидает смерть. Поэтому он дает приказ отвести войска «на зимние квартиры» и выжидает, что будет дальше. Союзники же продолжают военные действия и недоумевают, куда делись русские.

По воле провидения Елизавета после продолжительной болезни поправилась, ее поставили на ноги не только врачи, но и два монаха из северного монастыря. Меж тем конфе-

дерация срочно отзывает для доклада главнокомандующего в столицу, на командовании остается генерал Фермор.

Перед отъездом Апраксина, Фермор и Милорадович определяют сложившееся положение как стабильное. Они прибывают в столицу, где Апраксин тут же попадает в немилость, в угоду союзникам принесена жертва. Не спасли ни былые заслуги, ни тактические соображения. Пруссия должна быть уничтожена любой ценой!

Судьба благоволила Милорадовичу. Его миновала высочайшая немилость, и вот он в 1758 году уже сражается с пруссаками при новом главнокомандующем. После взятия русскими Кенигсберга Милорадовичу поручается с учеными городского университета подготовить доклад Елизавете о научных достижениях.

После двухнедельного интеллектуального штурма и натиска Милорадович предстает перед императрицей. А она делает очередную рокировку: на пост главнокомандующего на сей раз заступает граф Петр Семенович Салтыков, с которым Милорадович знакомится в столице.

Новый главнокомандующий получил указание активизировать военные действия, уничтожив пехоту и конницу Фридриха II.

Воительницам хотелось добиться капитуляции Пруссии. Салтыков незаметным маршем от берегов Варты через Тарнов, Пнев, Львовек выводит главные силы русских к Одеру. Здесь после разгрома прусских соединений под Пальцигом был подготовлен план окружения и уничтожения главных сил прусской армии.

Милорадович уже спешит в Санкт-Петербург с очередной депешей, в которой главнокомандующий наряду с докладом об успехах попутно срочно просит императрицу ускорить доставку обещанного: ружей, сабель, патронов, боеприпасов для артиллерии и обмундирования. Армия пожирала свое снаряжение с невероятной скоростью, после каждого сражения интенданты сбивались с

ног, чтобы укомплектовать оставшихся в живых солдат и офицеров всем необходимым.

С Милорадовичем едет офицер, которого ему рекомендовал лично Салтыков: «С тобой в столицу я отправляю одного офицера, командира отдельного кавалерийского отряда. Ты о нем много слышал, но знаком не был еще. Он из старого дворянского рода, все его родные служили в армии, познакомься с ним, вам еще предстоит вместе воевать долго, если Бог будет хранить вас. Его назначили командиром Суздальского полка, который размещается где-то на реке Волхов. Ступай».

Перед тем как разместиться в коляске, офицеры обменялись приветствиями, и Милорадович поинтересовался, могут ли они ехать или его визави перед дорогой хочет перекусить.

— Я уже завтракал, ординарец с моим багажом тоже готов выступать в путь, он около коляски ждет приказа.

— Тогда в путь, — улыбнулся Милорадович и передал походную сумку с документами ординарцу. Они подошли к коляске. Охрана и ординарец уже расположились за походной каретой, к ним пристроился и ординарец Андрея Степановича. Получился внушительный эскорт в десять всадников. Так было положено по уставу и по наставлениям военного времени при доставке секретных приказов и планов. С места сразу пошли на рысях, надо было торопиться.

— Александр Васильевич, — обратился Милорадович, — разрешите, я поведаю вам о Кенигсбергском университете».

— Конечно, сударь, — ответил Суворов, ибо это был прославленный русский полководец, карьера которого только начиналась. Суворов повернулся к Милорадовичу и больше уже не смотрел в окно, за которым проплывали придорожные пейзажи.

— Мне довелось совсем недавно передать императрице доклад об этом университете, а до этого не-

которое время знакомиться с его деятельностью. Я много беседовал с учеными и старался познать суть их исследований, так как не хотел молчать или говорить общие фразы при докладе императрице. К примеру, меня поразило толкование ученых университета о свободе, структуре правового строя государства, возникновении вселенной, познании явлений. Судьба доклада мне не известна, но я выполнил поручение императрицы. Многое я запомнил и теперь поддерживаю их в том, что познание зависит от развития разума человека, познавательные способности можно развивать постоянно. Они занимались априорными и апостериорными знаниями человека.

Суворов слушал более чем внимательно и только в конце попросил пояснить, что это такое, подробнее, если возможно.

— Пожалуйста, милостивый государь, — произнес Милорадович.

В этот момент лошади резко сбросили скорость и через мгновение остановились. Офицеры даже не заметили, что прошло около двух часов, как они выехали из ставки. Дверца коляски открылась, и дежурный офицер, отдав честь, попросил пройти передохнуть в дежурную комнату, пока будут менять лошадей. Ординарец Милорадовича, забрав сумку, пошел вместе с Андреем Степановичем, Суворов же отпустил своего ординарца вместе с гусарами из охраны передохнуть в комнату, которая находилась рядом с дежурной. Через час кортеж был снова в пути, надо было своевременно доставить донесение в столицу.

Во время беседы они часто переходили с русского на французский, немецкий, сербский, турецкий и польский языки. Сначала офицеры не замечали этого, но потом вдруг до них дошло, что язык общения у них один — это язык образованного человека. За четыре дня пути Милорадович и Суворов так подружились, что остались верными этой дружбе до конца своих дней.



2.

Спустя четыре дня коляска с эскортом въехала в Санкт-Петербург. Во дворце офицеры расстались, каждый пошел по своим делам, но одной дорогой — исполнять предназначенный ему долг перед Россией.

Александр Васильевич получил документы в военном министерстве и отбыл в Ладугу готовить к походу свой первый полк, а Милорадович выступил с докладом на Конфедерации.

Семилетняя война не принесла России никаких территориальных выгод, армия потеряла около ста тысяч жизней молодых людей. Однако нет худа без добра, в горниле сражений семилетней войны выковывалась плеяда талантливых полководцев, которые впоследствии составят славу русского оружия.

Судьба снова свела А. В. Суворова и А. С. Милорадовича в период боевых операций Второй турецкой войны, но в чине генералов. После ее окончания Суворов продолжал руководить сражениями русской армии за пределами Российской империи, а Милорадович вступил в права наместника Черниговской губернии. Отдавая много сил государственной службе, он не жалел времени на воспитание своего сына, в котором и Суворов души не чаял. Мальчик рос под присмотром как гувернанток, так и солдат, специально приставленных в армии для обучения воинскому мастерству молодых офицеров. В имении Михаил рос в окружении сверстников, которые наряду с ним осваивали все приемы верховой езды, сабельных ударов, стрельбы из ружей, рукопашной борьбы. Эти занятия проводились регулярно, и отцу в обязательном порядке докладывали об их результатах.

К тринадцати годам Михаил был уже подготовленным к воинской службе сыном Отечества. Вскоре ему присвоили сержантское звание, и отец отправил его вместе с наставником Данилевским для учебы в Кенигсбергский университет к тем самым

профессорам, попечением которых он очень дорожил. После окончания университетского курса Михаил переезжает в Страсбург, где французские генералы учат его военному ремеслу.

Но учеба завершена, пора возвращаться в Россию. Однако он получил приглашение в Париж, его желали представить королевскому двору. На этой церемонии Михаил познакомился со многими высшими офицерами французской армии. Милорадович отмечает, что и во французской армии происходит смена поколений. Такое знакомство в будущем очень помогло русскому офицеру.

По возвращении в Санкт-Петербург Михаилу присваивается звание подпоручика, ему дан приказ выступить со своим полком на север страны, где ведутся боевые действия. К отцу ему удалось выбраться только в августе 1790 года. Встреча после долгой разлуки произошла в родовом имении в Полтавской губернии. Отец для этой встречи созвал, кажется, всех своих родственников и знакомых. Даже тех ребят, с которыми Михаил в детстве отрабатывал приемы военного искусства.

Наконец, к господскому дому подкатила карета с молодым Милорадовичем. Ее бросились встречать все, а отец в генеральской форме при всех орденах, специально приехавший из Чернигова, вышел на парадное крыльцо и с любовью смотрел на своего сына. Михаил, выскочив из кареты, минуя двенадцать ступеней, очутился в объятьях Андрея Степановича. Дворовые и селяне криками приветствовали своего любимца.

Вообще в поместье Милорадовичей царил обстановка, не свойственная помещицкой жизни в России. На берегу реки поставили новую баню на месте той, где мальчишки мылись после ежедневных кавалерийских тренировок, уроков фехтования и стрельбы.

Приблизительно такая же обстановка сложилась в сибирских и северных регионах страны. Здесь

простой народ чувствовал себя куда более свободно. Сами себе зарабатывали на пропитание и распоряжались собственной судьбой. Главное — не показываться в центральных регионах, где за каждым беглым крестьянином шла охота.

В поместье Милорадовичей — более полутора тысяч крепостных душ. Село и его окрестности — очень большие, управлял имуществом Афанасий, которого старший Милорадович специально обучил этому ремеслу. В селе — храм, батюшка пользовался непререкаемым авторитетом, да и скандалов в селе не было, так как крестьяне жили в достатке. Пьянство было запрещено, за нарушение — прямая дорога в рекруты.

Во избежание кражи коней, которых на ночь выгоняли в луга, управляющий определял охранников. Поэтому бродячие таборы цыган обходили имение Милорадовичей стороной.

Сын с отцом долго стояли, обнявшись, затем Михаил поклонился всем селянам, чем вызвал общий восторг, и они с отцом вошли в дом. Андрей Степанович платком вытер краешек правого глаза и приказал ординарцу разгрузить багаж.

После обеда Милорадовичи сели на лошадей и в сопровождении ординарцев поехали осматривать имение. В храме их ждал отец Григорий. Время сделало свое дело, батюшка поседел, но был все еще бодр, как и много лет назад. Батюшка исповедовал Михаила, и всадники поехали дальше.

Приближался медовый спас, на пасеках начинали откачивать мед, которым село Вороньки славилось на всю округу. Старший Милорадович, побывав во многих странах Европы, понимал, что состоятельный человек — тот, кто производит и продает реальный товар. Производство в имении было налажено, а управляющий через купцов сбывал продукты не только на ярмарках, в уездных городах губернии, но и по всей России.





Свое хозяйство и хотел отец показать сыну, и от всего увиденного Михаил был в восторге. К вечеру Милорадовичи подъехали к берегу реки, здесь Афанасий продемонстрировал Михаилу новую баню с купальней на реке Многа, притоке реки Удай, которая делила село Вороньки на две части. Специально для купальни сделали запруду с чистой водой, а дно посыпали песочком. Переправа и брод были ниже по течению и не создавали барской усадьбе неудобства.

Солнце клонилось к закату, берег реки окрасился в багрянец, Милорадовичи соскочили с коней и бросили уздечки подбежавшему парубку. Афанасий поклонился господам и только собрался было пригласить их посмотреть новое строение, как над полем раздался звонкий, веселый детский голосок: «Деда, это мы!» По краю пшеничного поля бежала девочка лет трех, а за ней на расстоянии шагов двадцати шла молодая женщина. Наступила тишина, все замерло в оцепенении. Михаил даже услышал стук своего сердца. Афанасий поклонился Андрею Степановичу: «Простите, барин, это мои внучка и невестка».

Афанасий подбежал к внучке и поднял ее на руки. Девочка обхватила шею деда ручками и прижалась щекой к его лицу. Над полем рассыпался ее веселый серебристый смех. Семейство Афанасия подошло к новой постройке, на которую уже никто и не обращал внимания. Милорадовичи заворожено смотрели на этих людей, радовавшихся жизни. Возвращаясь в усадьбу, каждый думал о своем. Вдруг Андрей Степанович произнес: «Знаешь, сынок, когда мы поехали осматривать имение и ты был рядом со мной, я подумал, что счастливее меня нет человека. Я вырастил тебя, подготовил к службе государю и отечеству, дал образование. Но я увидел сегодня счастье других людей, счастье, которое приносит не только прекрасные, получившие образование, нашедшие свое место в жизни дети, но и внуки. Не знаю,

смогу ли я испытать такое счастье, увижу ли я твоих детей, но меня утешает то, что я подготовил тебя к военной карьере».

— А как звать эту красивую девочку? Я хочу послать ей подарок, — вдруг прервал отца Михаил.

Беседу подобным образом, они подъехали к дому, где их уже ждали к ужину. Михаил подозвал ординарца, велел срочно скакать в расположение Лубенского полка и от его имени попросить командира подобрать небольшой подарок для девочки трех-четырёх лет.

— И что же ты собираешься подарить внучке управляющего? — поинтересовался отец.

— Я попросил положить в коробку красивое кружевное платьице, туфельки, шапочку и ленты. Когда я ехал сюда из Санкт-Петербурга, мы заглянули к командиру этого полка, и я знаю, что он не откажет в моей просьбе.

— Конечно, не откажет. Но я хочу, сынок, предостеречь тебя от пагубной привычки сорить деньгами. Это, конечно, не относится к данному случаю, здесь ты поступил, как мне кажется, благородно. Ты увидел то, что нашло отклик в твоём сердце...

Девочку звали Люба.

3.

Минуло четыре дня. Утром две кареты отъехали от усадьбы, в одной Андрей Степанович удалялся в Чернигов исполнять свои обязанности наместника, во второй Михаил Андреевич — в столицу в свой полк, где его ждали ратные дела. Несколько дней, проведенных с отцом, сблизили их так, как до этого не сблизали годы, прожитые вместе. Михаил понял, как много для него сделал отец, дав ему блестящее образование.

Началось продвижение по карьерной лестнице. Вот он уже капитан-поручик, капитан. Время на службе бежало незаметно. Сообщение о смерти отца застало Михаила врасплох, и когда он приехал в Чернигов, отец был уже похоронен в мо-

настыре со всеми почестями. На похоронах была сестра, она передала брату письмо, которое отец диктовал для сына незадолго до смерти.

Милорадович в одиночестве простоял около могилы отца часа два, он разговаривал с ним, как с живым. Только сейчас Михаил понял, насколько близок был ему этот человек, с которым он делился самым сокровенным.

Михаил подошел к своим ординарцам, и они почувствовали, что это уже другой Милорадович.

— Поехали в имение! — произнес он потерянными голосом, и трое всадников с места галопом поскакали в Вороньки. По прибытии он поговорил о делах с Афанасием, дал распоряжение о возможности учебы его внуки в Киеве. Управляющий уговорил Милорадовича сходить с дороги попариться в бане. После этого они с новым батюшкой местного храма пили чай, затем втроем снова говорили о благоустройстве села. Утром Михаил отбыл в столицу.

Спустя два года Милорадович был произведен в генералы, и снова перед отбытием с русскими войсками в Европу он долго стоял у могилы своего отца, словно прося у него благословения на ратный подвиг и защиты. На одной из станций к нему подошла цыганка. «Ладно, гадай», — сказал Михаил и положил ей на ладонь червонец. Цыганка долго рассматривала ладонь и вдруг произнесла:

— Ты счастлив, так как с детских лет был молодым. Затем ты быстро возмужал и достойно перенес жизненные лишения. В двадцать лет ты был принят в высший свет, а в двадцать восемь произведен в генералы. Тебя постоянно окружают молодые женщины, которые мечтают быть с тобой, но свою любимую ты встретишь в пятьдесят лет. Тебя ждут почет и награды во многих странах, ты никогда не будешь даже ранен, хотя будешь участвовать во многих сражениях, твой ангел бережет тебя. Я никогда не видела такого расположения линий на руке людей, которым

предсказываю судьбу. Опасайся плавать на лодке по улицам города, после этого ты будешь в опасности.

— Брось выдумывать ерунду, какие лодки на улицах наших городов! — рассмеялся генерал.

Что бы все это значило? Он, словно несмышлениш, просил у отца защиты. Но возле могилы было тихо. Так с неразгаданной тайной Милорадович и ушел на войну.

4.

1812 год отбросил Михаила далеко от родового гнезда. Но всякий раз, возвращаясь домой, он старался бывать в Чернигове, в Вороньках, решать финансовые и организационные вопросы. После смерти отца дела в имении шли неважно, денег не хватало даже на расходы самому хозяину. Михаил понимал, что тратит все средства, которые зарабатывают ему его крестьяне, но иначе он жить не умел и надеялся на то, что, когда оставит военную службу, займется хозяйством.

За учебой Любы он следил и просил Афанасия сообщать ему о ее успехах. В июне 1812 года начались военные действия русской армии с армией Наполеона. Русские войска отступали от Немана вглубь страны. Михаилу Милорадовичу поручается формирование резервной армии. Александр I понимал, что война будет затяжной, мирного соглашения с Наполеоном он никогда не подпишет, а поэтому надо готовить к войне все ресурсы. Для решения этой задачи Милорадович подходил лучше всего. За короткое время были сформированы ополчения, однако оружия не хватало. Срочно начали собирать новые казачьи полки на Дону, Урале, в Башкирии. В Вологде, на севере, Новгороде из ополченцев были собраны пехотные и егерские батальоны, в Петрозаводске, как и в Туле, расширили производство пушек и ружей.

Пороховые заводы справлялись с поставками боеприпасов, а за поставку в армию коней, подков, сабель,

обмундирования головой отвечали губернаторы. Милорадович сутками не слезал с коня, объезжая военные подразделения, где резервистов обучали боевому искусству. Генерал стал терять зрение — это было следствием болезни, которой он заболел в Альпах, когда его ослепило сверкающим снегом. Однако на второй день после доклада из действующей армии Милорадович сорвал с лица повязку и снова приступил к выполнению своих обязанностей. Болезнь отступила и больше не напоминала о себе. Резервные части стали подтягиваться к армии Кутузова, делая переходы по сорок верст в сутки, и во второй половине августа отдельные соединения, сформированные Милорадовичем, уже влились в состав действующей армии. Однако основная часть пополнения находилась на подходе к Москве, и Милорадович был не в состоянии за месяц исправить все промахи военного ведомства.

Между Москвой и действующей армией нет регулярных войск, этого не допускала военная наука того времени, такое положение неминуемо ведет к краху. И Кутузов во второй половине августа назначает Милорадовича командовать отдельным корпусом, в задачу которого входит прикрытие Новой Смоленской дороги от неприятельских войск. Во время Бородинского сражения Милорадович поочередно вводил в битву доверенные ему дивизии. Когда русские сдерживали французов на левом фланге, Кутузов понял, что наступает критический момент сражения, и обратился к Милорадовичу:

— Михаил Андреевич, а где французы оставили свои обозы, как ты думаешь?

— По плану боя, я думаю, здесь, — и Милорадович указал на карте место за рекой. Кутузов приказал корпусам Уварова и Платова ударить в тыл французам. Как раз в этот момент для окончательной победы Наполеон по настоянию своих генералов приказал ввести в сражение соединения Молодой гвардии. Но, получив

донесение о рейде русской конницы по французским тылам, немедленно остановил гвардию и направил ее для защиты обозов. Наполеон всегда боялся хитрого маневра русского главнокомандующего и не ошибся. Время для Кутузова было выиграно. К пяти часам после полудня атаки французов прекратились, из донесений командиров корпусов Кутузов понял, что утром ему атаковать неприятеля будет нечем, и ночью начался отход войск к Москве, а не на Верею и Боровск.

Этот маневр, по замыслу главнокомандующего, позволил бы русским растворить французскую армию в большом городе, а затем уничтожить ее. Зная авторитет генерала Милорадовича в армии, Кутузов назначил его командовать аррьергардом с подчинением ему ряда пехотных, егерских, казачьих полков, а также нескольких батарей и отдельных отрядов гусар. Один на один с Милорадовичем он открыл свой план разгрома Наполеона:

— Французы оставили на Бородинском поле более половины своей кавалерии, их войска так же измотаны, как и наши. Но Гвардия не участвовала в сражении. Наполеон сейчас не бросит ее в бой, он должен сохранять резерв. Отдых у французов займет сутки или двое, поэтому за это время мы сможем оторваться от них верст на сорок. Нас сможет преследовать, дробить ударами с флангов и уничтожать только сохранившаяся французская кавалерия. Поэтому твоей задачей будет задержать ее любой ценой хотя бы на сутки. В прямом столкновении ты этого сделать просто не сможешь, попробуй сделать это хитростью. Характер твой я знаю, прояви свой авантюризм, ты знаком со многими генералами из армии Наполеона, может быть, ты сможешь на несколько часов заключить перемирие. Нам надо спасти армию, подойдут сформированные тобой резервы, наступят заморозки, и мы разобьем супостата. План отхода из Москвы будет



сложный, но твоя задача — запутать истинный путь отхода. Поэтому казаки арьергарда должны постоянно создавать ложные направления движения основных войск. Армия будет ждать тебя под Подольском, этот план знает Барклай-де-Толли, Ермолов и ты. С Богом выполняй приказ и помоги спасти Отечество!

Кутузов обнял Милорадовича, вышел из штабной палатки и поехал вместе с артиллерией к Москве.

Арьергард как мог отбивался от кавалерии Мюрата, но Москва стремительно приближалась. Семидесятитысячная русская армия еще не покинула город, о чем Милорадовичу постоянно докладывали вестовые. И, наконец, командующий арьергардом решил на переговоры с командованием французского авангарда. Снарядили парламентаря, которого принял сам Мюрат, он надеялся получить известие об условиях капитуляции русской армии и Москвы, как это было в других странах. Однако парламентарь передал только просьбу встретиться с генералом Милорадовичем. Просьба была удовлетворена.

Михаил Андреевич в парадном мундире в сопровождении свиты прибыл к командующему авангардом Великой армии. Переговоры были долгими. Каждая сторона пыталась отстоять свои позиции, но в конце концов логика Милорадовича одержала верх. Французы остановились на сутки в своем продвижении к Москве, русская семидесятитысячная армия, утомленная битвой при Бородине и сильно обескровленная, перешла Москву-реку и двинулась вначале на Рязань, но затем резко повернула на старую Калужскую дорогу к Подольску.

На Рязанской дороге перед французским авангардом Милорадович демонстративно оставил полк донских казаков, который вступил в схватку с кавалеристами Мюрата, и когда казаки двумя дорогами ушли от преследования французов, Король Неаполитанский сутки ждал донесения разведчиков, он не понимал,

куда запропастилась русская армия. Когда терпение Наполеона лопнуло, то на поиски русских направились еще два корпуса под командованием Понятовского и Бессьера. В конце концов французы настигли русских и пять дней вели с ними ожесточенные сражения под Чириковым, Вороновом, Спас-Куплей, Чернишной. Но это был опять все тот же злополучный арьергард, а не армия. И вот в конце сентября основные силы русской армии достигли села Тарутино, что в 84 верстах от Москвы, и остановились в хорошо укрепленном лагере.

Марш-маневр по отводу войск закончился успешно благодаря военному таланту генерала Милорадовича, Россия была спасена. Армия начала пополняться казачьими полками, батальонами, подошедшими на подмогу из других городов, и это были уже хорошо подготовленные воины. А солдаты, казаки, кавалеристы арьергарда стали сотнями брать в плен французов, которые старались прокормиться в русских деревнях. Началось разложение Великой армии. По всей России уже ходили анекдоты и легенды о боевых подвигах Милорадовича и его переговорах с Мюратом. Народ любил героя и спасителя страны, а Александр I, почувствовав готовность армии к сражениям, запретил Кутузову принимать парламентарей с предложениями о заключении мира. Русская двадцатитысячная армия готовилась к наступлению. Первое сражение состоялось, французы потеряли более четырех тысяч человек, включая пленных, но самое главное — удалось захватить несколько десятков неприятельских орудий, и Милорадович наконец-то ночевал на отбитой у неприятеля территории. Это был успех.

5.

Изгнание Наполеона осуществлялось строго по плану главнокомандующего. Авангард армии, которым командовал Милорадович, участвовал во

всех стычках с французами. Так, под Малоярославцем соединения Милорадовича совершили шестичасовой марш-бросок в сорок пять верст, и город был освобожден. Теперь в народе Милорадовича стали называть «крылатым генералом».

Представилась возможность написать письма управляющему в имение и сестре Любе. Громя французов под Красным, Милорадович увидел двух детей, которые брели среди убитых и раненых. Пока посланные ординарцы везли детей генералу, перед его глазами встала картина юности, когда по полю к ним с отцом с веселым и радостным криком бежала светловолосая маленькая девочка. Перед генералом предстали убитые горем дети, отец взял их с собою в Россию, надеясь, что война с этой страной будет быстрой и победной. Милорадович приказал накормить детей, вымыть, одеть и на следующий день с письмом отправил их к сестре. Через несколько дней он опять отправил к сестре еще одну девочку лет трех, которая даже не знала имени своих родителей. Благородство и широта души генерала поражали не только офицеров, служивших под его начальством, но и весь народ России, а впоследствии и стран Европы.

Русские войска вступили на территорию стран, которые Наполеон втянул как союзников в войну с Россией.

Коалиция стала разваливаться, и по указанию императора Милорадович выступает в переговоры на правах дипломата. Он один из немногих удостоился права на своих эпохеах носить вензель Александра I — в знак личного признания его заслуг перед Отечеством.

Милорадовичу выпало счастье изучать труды западных ученых, которые ему доставляли из университетов Европы, в том числе и из университета своего учителя Иммануила Канта, скончавшегося девять лет назад. Генерал вспомнил слова цыганки о своем будущем, когда нашел в одном из научных трудов изречение: «Не-

благодарность народов, несправедливость государей, зависть, клевета и происки сопровождают великих от колыбели до гроба. Жизнь их беспрестанное борение. Где ж награда?». Отложив книгу, генерал задумался: неужели когда-нибудь народ будет пренебрежительно говорить о государе, Суворове, Кутузове, о нем? Зачем же тогда рисковать в сражениях?

Одновременно с чтением генерал увлекся театром, поддерживая театральные труппы в разных городах, и артисты в знак благодарности давали представления солдатам.

Умирает его друг Кутузов. Милорадович тяжело переживает смерть человека, с которым прошел через невероятные трудности.

Император предлагает ему возглавить армию союзников, но Милорадович, соблюдая субординацию, считает, что главнокомандующим должен быть офицер, старший по званию и возрасту. Честь дороже тщеславия!

Войска вошли в Париж, война закончилась, Милорадович по велению императора возглавил гвардию и вернулся в Россию. Вознаграждения он вкладывает в имение, покупает вблизи Алупки в Крыму усадьбу. Переселяет из Вороньков полторы сотни крестьян и благоустраивает не только сад, но и всю усадьбу. Мило-

радовича не покидают мысли оставить военную службу, но он понимает, что умеет только руководить войсками, поэтому остается в столице при императоре.

Должность генерал-губернатора не тяготит Михаила Андреевича, его авторитет среди военных и простого народа помогает городу. На улицах появляются газовые фонари, улучшается содержание заключенных в тюрьмах, открываются и благоустраиваются институты, военные училища, театры, проводится антиалкогольная кампания, укрепляются военные сооружения вблизи столицы, строятся новые дворцы, парки. В эти годы он встречает одну из подруг своей воспитанницы, Катю, в которую влюбляется с первого взгляда. Теперь его не интересуют другие женщины, с ней он старается проводить все время.

Осенью разразилось наводнение, вода в Неве поднялась до такого уровня, что некоторых жителей приходилось эвакуировать в безопасные места. Вода ушла, и снова генерал-губернатор приступил к восстановлению того, что создавал не один год. Ему и в голову не приходило предсказание цыганки, к тому же его досуг занимала любовь к Кате.

Летом, оставив Катю в городе, Милорадович поехал осмотреть

свои имения в Вороньках и в Крыму. Мысль бросить все в столице и перебраться с любимой в родное село все чаще приходила ему на ум.

Осенью император с маленькой свитой уехал на юг России и не разрешил Милорадовичу сопровождать его. Через два месяца поступило известие о его смерти, и надо было присягать новому императору. Полковые командиры допустили непростительную халатность при информировании офицеров и нижних чинов о порядке присяги, а полицейские пропустили простых людей. Генерал-губернатору лично пришлось выступать с поднятым вверх эфесом сабли перед пехотными солдатами, а не перед гвардейцами, напоминать о смысле присяги, как вдруг из толпы, которой вообще не должно было быть на церемонии, раздался выстрел. Стрелял в героя России, ее спасителя, народного любимца отставной младший офицер. Перед смертью генерал-губернатор Санкт-Петербурга Милорадович, награжденный восьмью иностранными и одиннадцатью отечественными орденами, успел дать вольную всем своим крестьянам.

Похоронен М. А. Милорадович в Церкви сошествия Святого Духа Александро-Невской лавры.

г. Санкт-Петербург



Зулкар ХАСАНОВ

СНОВИДЕНИЕ

Раннее утро. Павлу Дмитриевичу не спится. Он вспоминает подробности только что увиденного сна. Утренний туман над лугом и водой медленно уходил за реку. Павел Дмитриевич укладывал высохшее сено на рыдван. Старший сын, Володя, наверху воза принимал сено и его утаптывал. Варвара Сергеевна, жена Павла Дмитриевича, с младшим сыном Сашей сгребали сено. Откуда ни возьмись, появились верховые на лошадях. Первой их увидела Варвара и окликнула мужа:

— Паша, гляди, наверно, к нам!

— Пожалуй, — ответил Павел. — Только не ясно — зачем?

— Может быть, Паша, мы накосили не на том участке.

— Да нет, сам управляющий Григорий Иванович указал нам это место.

— Володя, слезай, — тихо сказала Варвара Сергеевна.

На сивом жеребце сидел сам Григорий Иванович, управляющий хозяйством помещика Захара Петровича. Жаркое лето, но Григорий одет в белую шубу и белые валенки. Два всадника, сопровождавшие Григория, остановились чуть поодаль, их лица не разглядеть, они как бы таяли в тумане. Под Григорием гарцевал жеребец, часто переставляя ноги, так как он то и дело натягивал узду. Тряся огромной черной бородой, широко выпучив глаза, Григорий заговорил зычно и злобно:

— Пашка, ты пошто порубил в роще у хозяина липы?

— Простите Христа ради, — запричитали Павел и Варвара.

— Хозяин приказал забрать твою жену и детей. Женой твоей будет владеть наш хозяин, дети будут служить у него в работниках! Тебя посадим в яму! Потом пойдешь в тюрьму! Понял?! Сено завезешь во двор хозяина! Сукин ты сын, будешь знать, как рубить липы у хозяина!

Паша и Варвара низко опустили головы, они бледны и напуганы. Паша ладонью смахивает пот с шеи и раскрасневшегося лица, не зная, как оправдаться перед Григорием, а Варвара тихо, по-бабьи, воет в платок.

Казалось, сивый жеребец сейчас затопчет Павла! Разъяренный Григорий наотмашь ударил Пашу своей плеткой и рассек ему лицо.

— Не трогайте Павла, — кричит благим матом Варвара, тоже стараясь поймать за узду жеребца, вставшего на дыбы. — Это я его заставила! — А сама горько рыдает.

— Прости-и-ите нас, Григорий Иванович, — пытается тоже вскрикнуть Павел Дмитриевич, но не может, голос пропал. И — просыпается. Ему кажется, что шевелятся губы. И гулко бьется сердце. Павел Дмитриевич осмотрелся. Но рядом никого и ничего: ни Варвары, ни верховых, ни луга.

И теперь он силится вспоминать, к чему бы все это, перебирает в памяти дела давно минувших дней...

Дело было зимой. Кончились дрова, топить стало нечем. В ход пошла солома, от которой было много золы, но мало тепла. Решили ехать в лес за дровами. Запрягли свою чалую кобылу, взяли разрешение на порубку леса у управляющего, работавшего еще у помещика Захара Петровича, оплатили стоимость.

Погода стояла хорошая. Солнце уже взошло. Его лучи мягко скользили по крышам домов. Настроенные у Павла и Варвары хорошее. Они еще молоды и красивы. Лошадь надежная. Взяли с собой все необходимое: пилу, топор, веревку, сено для лошади. Оставили своего младшего сына на попечение старшего, Володи.

Дорога в лесу накатана односельчанами. И тут большая черная ворона на куполе церковной колокольни громко каркнула и стремительно спикировала на головы Павла и Варвары.

— Чу, шальная! Этого нам еще не хватало. Вороний грай — недобрый знак...

— Не обращай внимания, Варвара, на всякие приметы, успокойся, все будет хорошо.

В лесу сказочно красиво. Макушки деревьев, подсвеченные солнечными лучами, сверкают золотыми искрами. Временами снег с макушек мохнатых елей лавиной рушится вниз даже от тихого эха.

Найдя нужную делянку, супруги стали рубить лес. Работали дружно и, конечно, взмокли. Быстро натаскали пиленный лес к саням. Лошадь мирно жевала сено, добродушно поглядывая на Павла и Варвару.

Начали укладываться. И тут Павел задумался. Его и жену гложет одна забота: как обеспечить семью лыком на лапти. Ведь вся семья ходит в лаптях. Лыко же нужно только липовое. Липы тут же, по соседству, — в роще. Но разрешения на вырубку лип нет. Дорого! К тому же хозяин строго следит за тем, чтобы липу никто не трогал.

И вот Павел и Варвара, скрепя сердце, наконец решились срубить несколько лип. Четыре деревца они запрятали между дубовыми и березовыми дровами, сверху решили прикрыть сеном.

Липа — поделочное дерево, так как она легко поддается обработке. Из нее делают колоды, ульи, оконные косяки и многое другое. Помещик на липе имеет немалый доход.

Солнце раскошегарило вовсю, с веток на затылок и лицо капает растаявший снег.

Закончив погрузку, подтянув супонь хомута и чересседельник упряжи, выехали из леса. Закачались макушки деревьев, угрожающе завыл ветер. Погода испортилась, похолодало. На выезде из леса Павел забежал в дом управляющего, чтобы он осмотрел воз. Таков порядок.

Григорий Иванович вышел из дома. Лениво осмотрел дрова и сказал на прощанье: «Смотрите, не заблудитесь, погода меняется». Потом уже почти отвернулся, но его острый взгляд скользнул между веток.

— Э-э! Погоди, Павел Дмитриевич, что это у тебя между дубами?

Спина покрылась испариной.



Рисунок Ларисы Могильной

— Да вот, детки без обуви.... Я срубил без вашего, Григорий Иванович, разрешения четыре липы. Простите Христа ради!

— Хм! — резко повышая голос, продолжил Григорий Иванович. — Я бы простил тебе, но хозяин меня не простит. Придется на тебя составить документ, заплатишь штраф!

— Нет у нас денег, Григорий Иванович, — одновременно запричитали Павел и Варвара. — Вы сами знаете, как мы живем.

Павла и Варвару трясло, зубы стучали то ли от холода, то ли от страха.

Григорий Иванович, почувствовав, что бедные люди до смерти напуганы, сжалился над сирыми и убогими.

— Ладно, Бог простит! Поезжайте! Только я у вас никаких лип не видел, и никому ни-ни. А то и мне заодно попадет.

— Понимаем, — робко промолвил Павел.

— Хранит вас Бог, — сказала Варвара.

Возок отъехал, но еще долго у Павла и Варвары гулко стучали сердца. Они рады, что все так разрешилось. Дома их с нетерпением ждали дети!

На первый взгляд, все это неважно. Однако Павел Дмитриевич воспитан своими родителями в очень строгих правилах. Совершив этот поступок, он долгое время не находил себе места. Это событие надолго запало ему в душу. Четыре липы, а столько мучений. Сегодня воруют гораздо больше. Но ни у кого сердце не болит. Один только Павел Дмитриевич переживает за всех!

г. Калуга



Евгений РЫК



Продолжение. Начало в № 10 за 2010 г.

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО

ПЛУТОВСКОЙ РОМАН

7.

Они ушли с помойки около семи. Под плащом Швецова оказался дорогой двубортный темно-синий костюм, в руках он нес шляпу, которую надел позже, на шоссе. К удивлению учителя, которое с этой минуты все только возрастало, они взяли такси. Приехав на Белорусский вокзал столицы, они пошли в круглосуточно работающую парикмахерскую, где Никитина постригли, помыли ему голову, просушили феном. А майор только побрился. Всю эту процедуру офицер спецслужбы лаконично обозвал «изгнанием бесов». Учитель с ним молча согласился. После гигиенического катарсиса приступили к работе. Они отправились к метро и вынырнули очень скоро на станции «Краснопресненская», прошли немного пешочком к высотному дому на Баррикадной. Майор легко открыл многотонную дверь подъезда, над которой было написано: «Квартиры». Им открылось обширное фойе с мраморными колоннами, множествами дверей в разные стороны и лифтами посредине. Главным украшением высокого и широкого вестибюля был мордастый полусонный детина за колченогим столиком.

— Куда? — дружелюбно так, через губу, спросил мордастый.

— В двести двадцатую, — неожиданным для Никитина, точно таким же голосом ответил ему майор.

— Да... звонили, — и охранник кивнул на лифты.

Стеклянный-деревянный-оловянный чудо-лифт неспешно домчал их до одиннадцатого этажа, в здоровенном холле было четыре квартиры и выходы на две аварийные внутренние лестницы. Швецов взял лево руля и, приблизившись к нужному апартаменту, нажал на кнопку звонка. Два коротких, один длинный. Через двадцать секунд дверь им открыл седовласый здоровяк в тренировочном костюме и почему-то в полуботинках.

Седой толстяк кивком пригласил гостей войти, указал на вешалку в коридоре. За непрозрачными дверями слева угадывалась квартира метров в двести, но за те двери они не пошли, а направились в комнату напротив входа, видимо, кабинет хозяина.

Здесь, наконец, они обменялись рукопожатиями. Майор представил хозяину Михаила Васильевича, а хозяина назвал так:

— А это наш Батя.

Батя был по возрасту никак не старше их обоих, но, судя по дому, значительно выше стоял на социальной лестнице. «Если майор не живет в соседнем подъезде!» — поправил себя Никитин.

Хозяин усадил гостей на диван, а сам сел напротив них в кресло. За его спиной от потолка до пола, как обои, была наклеена громадная карта Москвы, со всеми ее переулочками, тупиками, транспортными маршрутами и какими-то странными значками-пометками.

— Ты, Владимир, говорят, сейчас на природе живешь. Ну и как там?

— Навозу слишком много.

— Да, да... Вы извините, мои гриппуют, чаю предложить не могу. Может, прямо к делу?

Батя сразу брал быка за рога, а Никитин как был раздавлен чудесами нынешнего утра, так и сидел пришибленный.

— Нам, Батя, нужно провентилировать один вопрос Венской конвенции о дипломатических сношениях.

— От восемнадцатого апреля 1961-го?

— Да. В частности, раздел «Дипломатический район», но применительно к почетным консулам.

— Ага. Понимаешь, Владимир, в конвенции об этом сказано как о местном обычае. В некоторых государствах, в целях безопасности или чтобы зараза от посольств не распространялась на какой-нибудь свободолобивый персидский народ, дипломатические районы полностью локализованы. Так проще следить и охранять иностранцев. Где-то на это плюют. Вон в Израиле половина посольств находится в Иерусалиме, а вторая — в Тель-Авиве. И так далее.

— А у нас?

— Когда-то был на Поварской и в прилегающих переулках. Потом, после войны, посольств и консульств стало много, особняков на всех не хватало, и они расползлись по центру, как тараканы.

— А сейчас?

— Сегодня, Владимир, никакого порядка нет. Посмотри. — Батя повернулся к карте. — Видишь посольство Чили? Улица Юности. Сто метров от кольцевой дороги. А представительство Чада? Они вообще за городом, на Рублевском шоссе! Вместе с дипломатами Коста-Рики. Много неудобств приносят посольства крохотных государств, которые снимают квартиры. Да, в домах для иностранцев, но все же... Въезжает человек под арку дома на Коровьем Валу в такси — их милиции останавливать не положено по инструкции, — вошел в подъезд, и ищи-свищи его. А там, например, в квартире двести девятнадцать посольство Мальты. И еще посольство Катара, посольство Ямайки... А рядом, на Мытной, в квартире двадцать девять — тридцать один, сидят послы Папы Римского. В другом подъезде албанцы. И не только там, по разным хатам: на 26 Бакинских комиссарах, на Кутузовском проспекте, на Ленинском, на Мосфильмовской, на Смоленском бульваре... Ужас! Центрально-Афри-

канская Республика, Экваториальная Гвинея, Исландия, Перу... Черт бы их всех побрал!

Батя весь распалился, покраснелся, вероятно, наблюдения за дипломатами-тараканами, которые не хотели жить внутри Садового кольца, доставляли ему немало сердечной боли. Никитин решил перестать удивляться — все-таки сорок лет школьной практики!

— Батя, а есть какие-нибудь уж совсем удивительные штымпы? — вежливо спросил Швецов.

— Ха! А то как же! Вот в Кропоткинском переулке, двадцать шесть... Вот тут... Есть посольство Палестины.

— Но ведь такого государства пока нет.

— А посольство есть! — ударил кулаком об кулак хозяин квартиры. — Или есть законное диппредставительство ЮАР. А вот это что, вон, сто метров от меня, можете посмотреть в окошко. Конюшковская улица, двадцать восемь, квартира девять. Представительство Африканского национального конгресса! То есть одной из политических партий той же самой Южно-Африканской Республики. Ну, я вас спрашиваю!

— Да... — произнес майор. — А консульства?

— Слушай, Володя, про консульства можно до утра рассказывать. Могу сказать, что в Москве только одна страна представлена генконсульством — Кооперативная Республика Гайана. Но, например, есть фрукты и поэкзотичней: официально мы не признаем Тайвань, но вот тут, во-от тут есть торговая миссия из Тайбэя, которая, собственно, и выполняет функции посольства... Удовлетворил?

— Вполне. А есть в городе почетные консулы?

— Целых два, но... Извини, брат, о них говорить не могу. Ты сам понимаешь...

— Швейцарская тюрьма? — очень тихо спросил майор. («Это они о Михасе», —

неожиданно вспомнил газетную заметку о несостоявшемся консуле Коста-Рики в России учитель. Он привычно читал за едой найденные ньюспейпы.)

В ответ седовласый только кивнул и быстро бросил взгляд на молчавшего Никитина. Через несколько минут, поручковавшись с толстяком, делегация берлоги удалась из высотного ковчега.

8.

На несколько дней все разговоры с Колбасой и даже рабочие контакты с ним прекратились: он просто исчез. Никитин начал даже как-то забывать о недавних фантастических блицвизитах и чудной информации. Он снова втягивался в жизнь берлоги, которая с наступлением ноября становилась все суровее. Хрущев не умел подшить свои валенки кожаными подметками, а без такой обуви лазать по битому стеклу, арматуре и острым краям плит зимой и думать нечего. Требовался заказ на швальню, но Никитину в последнее время что-то не везло: он едва выполнял «план», ему не попадалось ничего стоящего, и уже один раз помпотруд сделал ему замечание. Как всегда на помойке, без экивоков. Никто тебе тут не скажет, мол, Хрущев, давай-ка, брат, увеличь производительность труда. Или что-либо в том же духе. Нет, неделикатный зам резал больно, по живому: «Жрешь тут чужой хлеб, старый поц, пацаны вкальвают, а ты сачкуешь!» Очень обидно, особенно если учесть, что все это произносилось за общей трапезой.

Но пожаловаться было некому, ведь такие разносы и были единственным развлечением берлоги. Разумеется, когда втык предназначался не тебе. Другой игрой-забавой был так называемый кавээнчик. Крючники, как бизоны, люди мрачные, грубые и жвачные. Развлечения их были такими же. Ссоры вспыхивали по любому мельчай-



шему поводу, редким все же дракам предшествовала словесная перепалка, и называемая кавээнчиком. Звучит примерно так:

Пошел ты на ..!

Подержи за ..!

...тебе!

У меня — при себе!

Чья бы молчала, а твоя сосала!

Сосал бы я, да очередь твоя!

Была моя, а стала вдруг твоя!..

И этак без конца. Куда там Маслякову с его острословцами! Все наблюдают за этими баталиями, как у нас в стране повелось с тринадцатого века, когда перед сражением армий выезжали биться поединчики, какие-нибудь Ослябя и Пересвет. Или Илья Муромец, что ли. Сила была для них главней, но и острое слово дорогого стоило. Иногда унижить врага нахальной фразой было более эффектно, чем трахнуть его по башке шестнадцатую кэгэ металла.

Но все же наступал финиш и этим словесным баталиям, надо было укладываться. Пожилая часть крючников делилась на отрубных и мельничных. Первые, как только прикладывали голову, так сразу же и засыпали, отрубались. А мельничные все вертелись, охали, эхэхекали, и это после двенадцати часов постоянного хождения под ноябрьским ветерком!

Никитин был мельничным, он подолгу лежал с открытыми глазами, перебирая цветные стеклышки своей разбитой жизни. В это время жалость к себе и тоска душили его стариковскими слезами и уже законно приобретенным постоянным бронхитом. Правда, просидев всю жизнь в пыльных от мела классах — чем тебе не асбестовые шахты, — проторчав, сгорбившись над тетрадками и над книжками, за последний «вольный» год жизни Никитин почувствовал даже некоторый прилив физических сил. Но, увы, для человека, прочитавшего в своей жизни несколько лишних томов, силы душевные были важнее. Или не так? Может, в самом деле, не

так?!

Михаил Васильевич вспомнил первый год своего поступления на филфак МГУ. Годик — тот еще, пять-десять третий. Правда, сентябрь, но какой! Берия — английский (как теперь юморят) и югославский (о чем стараются не писать) шпион! В народе тихая паника, профессура ходит серо-бледная, очереди в магазинах молчат. Скорее всего, на фоне общего ступора Мише Никитину и запомнился визит к профессору Литовцеву. В его группе из москвичей был только он один. Когда профессор древнерусской литературы заболел, то передать пакет с кафедры попросили именно его — остальные еще толком не знали города и не смогли бы найти Пионерские (бывшие Патриаршие) пруды. Профессор Литовцев проживал в пряничном красном кирпичном доме на углу этих самых бывших прудов. Позже Никитин узнал, что дом был одним из первых кооперативов в Москве, ЖСК МГУ-1. А первый стоял в пятистах метрах отсюда, в Палашёвском переулке, и назывался «Старый политкаторжанин». Жильцом там одно время состоял все тот же Лаврентий Павлович Берия...

Дверь студенту открыла капризная девушка, жестко, по-молодому оценившая пузырьки на коленях единственных брюк юного ученого. Она же и указала, где в коридоре ждать профессора. Литовцев вышел к юноше, взял пакет и спросил, на каком курсе обитает студент. Тот ответил.

— А, еще в начале большого пути, — распечатывая послание, пробормотал дедушка русской исследовательской школы. Что-то в послании ему не понравилось. Он был намерен ответить кафедре. Профессор решил, что посыльный все же его коллега, а не письмоносец, и пригласил его на время составления ответного послания в кабинет. Сколько написано о кабинетах профессуры! Чего его тут нам описывать, все как и положено. Только не было каких-нибудь

трубок или турецких фесок, что для пущей придурковатости вводят в обстановку таких кабинетов романисты. А так: книги, рукописи, папки. Любознательный юноша осторожно вытягивал шею из антикварного кресла, стараясь прочесть названия на корешках фолиантов. Видно, его сопение отвлекло профессора от составления ядовитого ответа, и он саркастически поинтересовался:

— Книжечками любуетесь? Вот, собирали еще мои предки, да и я, грешный, руку приложил...

Юноша кивнул, не зная, как в таких случаях отвечать профессорам. А тот, по привычке увлекаться, перекидываясь от одного занятия к другому, уже оторвался от сочинения и переметнул свою иронию на студента:

— Вот недавно я сон видел. Про себя самого. Вы такие видите?

Миша покраснел, как-то неопределенно пожал плечами. Его румянец привел Литовцева в хищное настроение интеллигентного растлителя умов.

— Да... Снится мне, молодой человек, что пришла в этот кабинет молочница Танька... Ну, знаете, небось, таких танек... Вы Тургенева-то читали? А Толстого?.. Да... Смотрит на эти книжки, глупо хихикает...

Профессор по-кошачьи потянулся в кресле, потер руки.

— Так вот я... Беру эту деву и вот на этот диван ее, заразу!

Миша сидел ни жив ни мертв, но, следуя указанию профессорского перста, оглянулся на кожаный диван у себя за спиной. Хороший диван, старый, большой.

— Да-а... Я — к ней, она хихикает! Сю-сю-сю-сю-сю, — довольно натурально изобразил смех ядерной молодаяки старикан Литовцев. — Я еще раз к ней! А у нее круп подо мной проваливается!

Студент похолодел, переведя про себя на общепринятый язык, что означает слово «круп», и тут же покрывшись испариной. Все эти метаморфозы его желез внутренней секреции не ускользнули от дракона-

профессора:

— Да-с, проваливается к чертам собачьим. А она подвизгивает все. Я ей: что, говорю, сиськи на меня вытарашила?! И тут я, во сне, конечно, воздеваю очи горе и оглядываю все эти фолианты. Вот как вы только что. Да, оглядываю книжечки эти и думаю: эх, а хорошо бы их все сейчас подложить этой самой Таньке под жопу!

Даже сейчас, через столько лет, Никитин вспомнил собственный ужас и залихватый смех профессора-охлальника. И только сейчас он стал понимать, что профессор Литовцев не очень-то и шутил про накопление книжек.

Об аспирантуре Никитин не мог и мечтать: москвичам предлагалось узнать жизнь где-нибудь в далеком селе. Считалось, что там лучше закалится характер. Наслушавшись на лекциях всякой зауми об аллитерации, дольнике и мейстерзингерах, городским девчонкам предлагалось обучение свиноводству или мастерству покоса в вятской деревне, на целине, а еще повыше (в прямом и переносном смысле этого слова) — в аулах какой-нибудь братской, но очень уж закавказской автономии.

Пять лет Никитин учил чудных блондинистых детей на Белозере Вологодской области, где окончательно похоронил мечту о научной карьере и думал только о возвращении в Москву. А потом все понеслось как-то само по себе: женитьба, работа, ребенок, работа, смерть жены, работа, пенсия и городская свалка... Вот и попали все тома его жизни «под круп». Впрочем, по мнению многих, жизнь не такое уж важное кушанье.

9.

Колбаса появился ночью, во тьме берлоги разыскал Хрущева и, зажав электрический фонарик в пятерне, осветил им пространство над головой спавшего бомжа, чтобы не

заголосил спросонья, что случается, если светить прямо в морду лица. Учитель засыпал с трудом, а просыпался и того труднее, но от майора не отмахнешься. Пришлось вставать, одеваться и идти в ночь. Собаки, прикормленные берлогой, понятное дело, не обратили на них внимания. Шли мужчины к шоссе, спотыкаясь о неровности pomo-ечного паркета. Традиционно на дороге Колбаса поймал авто. Сам он одет был прилично, а Хруща водила сажать не захотел, пришлось увеличить цену «за амбре». По дороге Швецов просветил попутчика о жизненном статусе человека, к которому они ехали.

— Вы человек образованный, Михаил Васильевич, знаете, что земля стоит на трех китах. Те — на огромной черепахе, а Тортилла на нашем Рувиме. Сейчас вы это сами увидите.

Приехали на сей раз не в сотку и даже не в Кремль (а уж Никитин спросонья подозревал, что майор и этот адрес знал) — куда-то на дачу.

Лаяли собаки, но в доме горели окна, видно, их ждали или хозяева были полуночниками. Фуфайку, валенки и шапку учитель оставил в холодных сенцах, майор пожевал скулами и вытащил из глубин плаща дезодорант и весь его извел на золотаря. Напрасно, как нам кажется, смесь запахов стала еще нетерпимей, но теперь поделать было уже ничего нельзя.

О том, чтобы разговаривать при такой обаятельной базе в комнатах, не могло быть и речи. Хозяин, которого майор представил как Рувимиваныча, накинул пальто, а Никитину были предложены тапки и плед. Они перешли на неотопливаемую застекленную веранду. Майор не раздевался. Как и в прошлый раз, ужин там или аперитив предложены не были.

Рувимиваныч сразу перешел к сути вопроса:

— Вовчик, конечно, я все узнал.

— Рува, я в тебе не сомневался.

— Михаилу Васильевичу это все будет интересно? — непонятно кого спросил осторожный хозяин.

— Он — главный в деле.

— Понял! Итак, открытие дип-представительства Королевства Тонга в Москве. Вопрос делим на две части: мидовскую и организационную. Начну с министерской, она гораздо короче, но значительно труднее. Чтобы открыть ведомство почетного консула, нужно:

а) письмо — заметьте, не верительные грамоты! — от короля, либо от Совета министров, либо от тамошнего МИДа на имя нашего министра;

б) письмо от одного из двух председателей комитетов нашей Думы — либо комитетов по международным делам, либо по геополитике;

в) обратиться в департамент консульской службы МИДа (это теперь по другому адресу, они переехали);

г) хорошую взяточку, чтобы документы о легализации закрутились быстрее.

Тут вроде все.

Теперь помещение. Если снимать здание у города, то стоит только обратиться в Москомимущество, платите в кассу — готово! Но! Кроме бешеных расходов, с этого никаких доходов. Никакие консульские привилегии на договор аренды не распространяются. Это имеет касательство только к собственности. Михаил Васильевич может, конечно, купить в частную собственность какую-нибудь десятикомнатную развалюху в центре. Но! За нее потребуют денег много и сразу, ее все одно придется ремонтировать... Ну и так далее.

— Что же ты предлагаешь? Ты же не можешь не знать ответ.

— Строение. Отдельно стоящее здание.

— Оно что, будет дешевле десятикомнатной?

— Конечно, Вовчик! Ну конечно же! Даже со всем ремонтом-шремонт. Здание должно быть небольшим, в самом центре, достаточно ветхим, но и достаточно перспектив-



ным. По получении прав на него мы его тут же заложим в банк и на эту ипотеку отреставрируем. Когда закончим ремонт, заложим в другой банк, но уже в пять раз дороже. Расплатимся с первым банком, разница в карман.

— А можно?

— Ха! А я зачем? Но! Это хорошо говорить, когда здание уже есть. А если его еще нет?

— С чего начнем? Ты в деле?

— С процента или оборота?

— Как тебе?

— Предпочитаю процент: меньше, но надежнее. Начнем вот с чего. Из департамента МИДа берем бумагу и пишем заявление в мэрию на это строение. Потом начинается бюрократия, следи за ходом.

Первое. Мэрия выносит постановление о предоставлении земельного участка и ветхого строения из земельного фонда города для капитального ремонта или строительства нового здания консульства.

Второе. Согласовать проект с архитектором.

Третье. Заключение договора с ПМКХ на возведение здания.

Четвертое. Получить план отвода земельного участка.

Пятое. Заключение договора аренды (до передачи в собственность) с администрацией города.

Шестое. Подписать обязательства по срокам строительных работ.

Заметь, это все еще только на до-строительном этапе. Дальше ищем подрядчика, субподрядчика, исполнителей. Со всеми пьем, едим, даем в лапу, заключаем договоры. Море бумаг, сметы, накладные на материалы. Простор ОБХСС!

— Сейчас это УЭП.

— А суть сменилась?

— Нет.

— Я так и знал! — иронично всплеснул руками Рувимиваныч. — Так. Представьте себе: мы его таки построили. Вот дом, вот ворота, вот будка для милиционера. Теперь предстоит приемка госкомиссией в составе: представитель мэрии, предсе-

датель,

члены синклита: архитектор, Госсаннадзор, он же Комитет по экологии и природопользованию, Госпжнадзор,

Горкомзем, управление коммунального хозяйства,

санэпидемслужба,

водоканал,

свет,

дорожная служба,

ГИБДД (в просторечии — гиб-бонь),

пенсионный фонд для нанятых служащих,

телефонная станция...

— Ребята, и поверьте мне, на каждом буквально шагу — палки в колеса. Всем не дашь, а дашь — решат, что мало. Будем строить?

— Будем.

— Не испугал? А ведь есть еще Бюро технической инвентаризации, прием на учет строения, регистрация, решения, постановления, и, наконец, если сбоек нигде не было (а как им не быть, если все норвят кинуть нам подлянку?!), тогда получим главную простынку, называется «Свидетельство на право собственности на землю». На гербовой бумаге, с печатями. И только тогда можно вывешивать флаг.

Все помолчали, а Никитин привычно рта так и не открывал. Ин-формация, в общем-то, обычная для любого рядового дачного застройщика, произвела на двух крючников гнетущее впечатление. Возможно, не все в этих инстанциях и бумагах было так драматично, как преподнес Рувимиваныч, но впервые услышанные ступени строительно-юридической лестницы тяжело заколдовывали. После паузы майор откашлялся и спросил:

— Рува, это можно сделать?

Тот иронично посмотрел на Колбасу:

— Владимир Николаевич, это примерно в десять раз проще, чем вам было вытащить из тюрьмы Натана. Все, кроме скрипки!

Майор удивленно посмотрел на хозяина дачи, потом на Никитина (тот сразу решил при этом, что компания для строительства захочет украсть какого-нибудь «Страдивари», но промолчал, нахохлившись, втянув голову в плечи).

— Какой скрипки, Рува? Что-то не пойму...

— Вовчик, один человек может сделать все, что сделал когда-то другой: открыть сейф, подписать бумаги, построить посольство. Он только не сможет сыграть на скрипочке, как Гилельс или Дезик Ойстрах. Даже за деньги.

10.

«А что может произойти хуже, чем уже есть? В тюрьму? А чем тут лучше? — примерно так размышлял наш учитель, лежа на своем тюфяке после ужина. — Отдаю я себе отчет, что все это консульство — чистая афера? Разумеется. Наказуемая? Вероятно. Страшно? Да ни грамма! Интересно? А почему, собственно, и нет?! Буду каким-нибудь «вашим превосходительством». Буду каким-нибудь этим... камер-юнкером. Или как правильно? Кстати, а как правильно?»

— Лысый, — совсем неожиданно даже для себя самого крикнул будущий почетный консул Королевства Тонга.

Международник уже стоял перед ним, как лист перед травой.

— Итого?

— М-м-м... Геннадий... Присаживайтесь.

Лысый сел, оглянулся в поисках бутылки, какой не нашел. Никитин, кряхтя, поднялся, сходил к «буфету» и прихватил сучка. Многие божжи с удивлением уставились сначала на него, а потом перевели свои неясные очи на ужинавшего помпотруду. Тот сделал вид, что не заметил шалости тишайшего до сего времени крючника.

— Это вам, — сообщил Лысому благодетель.

— Мерси. Как там у классика?

«Выпьем, милая подружка, где же кружка?» Почему же Пушкин с бабкой пили не из рюмок, а, Михал Василич?

— Потому что они пили чай.

— Чай?! — позволил себе усомниться Лысый.

— Да, так называемый гусарский, холодную заварку — напополам с водкой. Читайте у Лотмана.

— Хм, не знал. В школе это место учительница как-то скороговоркой все больше...

— Геннадий, просветите меня, если у вас есть время, о Табелю о рангах.

— Без проблем. Разрешите только... — Международник налил в кружку. — Для связанности рассказа. Ха... Итак, петровская табель. Вам как русисту понятно, известно, что сей документ — женского рода. Многие интеллигенты советских вузов ведь и понятия об этом не имеют. История ее началась не с 1 января 1722 года и не закончилась еще и сегодня. Русское дворянство испокон века было институтом весьма мерзким. Ну, вспомните хотя бы поездки бояр из осажденной Москвы в Тушино, в лагерь Самозванца. Лжедмитрий охотно принимал высших и родовитых сановников, простых дворян, священников. Одаривал их чинами и землями, которыми и сам тогда не владел. Таковую аристократию называли прямо в глаза «перелетчиками». Отец первого царя из рода Романовых — Федор — тоже служил Самозванцу, за что был удостоен посоха патриарха Всея Руси под именем Филарет. Вот вам и начало славной истории Романовых... Между нами, этим самым Романовым и перелетчиком никто после не помешал повесить на Красной площади трехлетнего сына Лжедмитрия и Марины Мнишек. Принародно. Младенца! На что ж они в 1918-м жаловались, а?!

Петр Алексеевич Романов ничего нового не придумал в раздаче чинов. Он вообще мало чего придумал сам: либо срисовал все с Голландии, либо

применил дедовские приемчики. Вот все жужжат: «Птенцы гнезда, птенцы гнезда», а ведь учиться дворянский молодец за границу посылал еще и его отец — Алексей Михайлович, Тишайший. Двадцать пять юных оболтусов из самых родовитых семей разослал по германиям и англиям. Они поехать-то поехали, но не вернулся ни один! Дворянин Котошихин в Швеции, из этих двадцати пяти «Бакинских» командированных, написал интересную историю невозвращенцев... Если быть исторически строгим, то первым-то «просвещенцем» числился нелюбимый Пушкиным Борис Годунов: он в 1598 году послал в Англию десять молодых русских оболтусов.

Но и это не новость в Москве. Бежали князь Курбский, бежал сын ближайшего друга Иоанна Грозного Григория Лукьяновича Бельского, более широко известного в народе как Малюта Скуратов (вы-то, конечно, знаете, что это кличка); во Францию смылся сын канцлера Тишайшего — Ордин-Нащокин, младший. С казенными деньгами. Да что там говорить, а сын самого Петра? Алексей?..

Рюмочку?

— Пожалуйста, пожалуйста.

— Ха... Да, так вот, бежало это гнилое дворянство или бунтовало, а им рубили головы, ссылали. В результате все петровские реформы уперлись в то, что некому было править страной, стройками, армией. Он было приблизил иностранцев, но тут заворчали даже самые надежные. Что толку, что император произвел Алексашку Меншикова в князья? Или что грамоту на почетное докторство Лондонского королевского научного общества в Питер Меншикову привез сам Исаак Ньютон? Ведь читал светлейший Александр Данилович по слогам. Вспомните известную картину, где ему читала дочка...

Тогда и возникла идея «делать новых русских дворян». Для

этого и разработали систему зачетов в продвижении по службе, то есть ту нашу самую Табель о рангах.

— Значит, всякий, кто сдавал экзамен на чин, становился дворянином?

— Виноват, мистер Хрущев, это вы рассказы Чехова начитались на кафедре. Дело в том, что и дворяне потомственные не могли иметь классного чина, если не служили, а всякие там разночинцы, крестьяне или вольные при вступлении на службу получали личное дворянство начиная только с восьмого класса из четырнадцати имеющихся. Отсчет снизу вверх. А дворянство потомственное жаловалось только с пятого класса. Как, кстати, и было с папой Вовы Ленина.

— А до этого?

— Илья Ульянов был попечителем губернских училищ, по-нашему — предобрлоно. Когда достиг титула статского советника — и детки стали дворянами. Но — подробнее. Тот, 1722 года приказ вышел в народ: служите честно и долго, и все будет вам хорошо. Как и всегда, народ ни хера не понял. Ему объяснили: будешь пахать, как папа Карло, можешь из солдат стать генералом, из простых писцов — министром. И ведь становились! Все без обману со стороны нашего вечно врущего государства. Классных чинов установили четырнадцать. Разбили их на ведомства: придворные, гражданские, военные и горные. Военные имели также три подкласса: сухопутные, морские и казачьи. В свою очередь сухопутные еще подразделялись на три подподкласса: гвардейские, пехотные и жандармские. Доступно излагаю?

— И даже очень интересно, — честно признался Никитин.

— Мерси. Итак, начнем с чинов гражданских. Их было больше всего, то есть все четырнадцать. Отсчет, как было уже сказано выше, со дна. А еще лучше, Михаил Васильевич, я начерчу таблицу — для наглядности. Не возражаете?

— Если это не трудно...



— Отнюдь.

В тетрадке Никитина Лысый, пыхтя и высовывая язык, быстро рисовал и писал в разграфленных клеточках, не забывая время от времени прикладываться к пузырьку с едкой жидкостью.

«Если нам удастся, — решил про себя Хрущев, глядя на старательного алкоголика-международника и называя своих поделльников “нам”, — возьму его к себе. Помощником».

Вероятно, Лысый и завершил бы свой труд, но тут изо всех углов зашипели паскуды, что «пора качумать», «туши фары!», «знать совесть» и «вооще!».

В связи с тем, что Колбасы не было, лаяться со всей шоблой было бесполезно и даже опасно. Они расстались, договорившись о продолжении лекции завтра. Спи спокойно, дорогой товарищ.

11.

Седьмого ноября лил дикий дождь, видимо, чтобы насолить правоверным в светлый праздник, да к тому же фартовых машин сегодня не ждали. Берлога отсыпалась, ремонтировала навесы, чтоб не очень уж заливало, чертыхалась и пила.

Праздничные дни были самыми ужасными на помойке, терпеть общество друг друга все могли лишь путем крепкого сжатия зубов. Это не всем удавалось, так как бомжи в последнее время почему-то перестали посещать не только модных мажорных дантистов, но даже и районных зубных врачей и протезистов. Этим, собственно, и отличается изгой общества от народного артиста СССР — вставными зубами, так как печень и у того и у другого одинаково проспиртована...

Занятие по отечественной истории и геральдике началась прямо с утра. Лысый дочертил-таки свою схему и теперь уверенно тыкал пальцем в разные графы, сопровождая этим наглядным пособием свою лекцию.

— Милейший Михаил Васильевич, вот, ознакомьтесь с плодами ночных бдений.

Перед Никитиным разверсталась таблица.

Класс	Чины гражданские	Чины военные		
		сухопутные	морские	казацки
1	канцлер	генерал-фельдмаршал	генерал-адмирал	—
2	действ. тайный советник	генерал от инфантерии, казалемери	адмирал	—
3	тайный советник	генерал-лейтенант	вице-адмирал	войсковой атаман
4	действ. статский советник	генерал-майор	контр-адмирал	наказной атаман
5	статский советник	—	—	—
6	коллежский советник	полковник	капитан 1-го ранга	войсковой есаул
7	надворный советник	подполковник	капитан 2-го ранга	войсковой старшина
8	коллежский ассессор	капитан, ротмистр	ст. лейтенант	есаул
9	титularный советник	штабс-капитан, штабс-ротмистр	лейтенант	подесаул
10	коллежский секретарь	поручик	мичман	сотник
11	корабельный секретарь — не использовался с начала XIX века			
12	губернский секретарь	полпоручик, корнет	—	хорунжий
13	провинциальный секретарь	прапорщик	—	подхорунжий
14	коллежский регистратор	—	—	—

— Как я говорил выше, чины, или классы, имели еще и горняки, и жандармы, и царедворцы.

— Геннадий, а пушкинский камер-юнкер чему равнялся, скажем, по военной шкале?

— Чин немаленький, шестого класса. Ну, маленький, понятно, по придворному протоколу. Так-то он полковник. Только, Эм Вэ, Пушкин был... извините... не камер-юнкером, а камер-пажом, то есть поручиком. Ниже уж и не было по этой разблюдовке званий. То-то он на Николая обижался за такой мундир. Да. Там самыми высокими были (по второму классу): оберкамергер, обер-гофмаршал, обер-штальмейстер, обер-егермейстер, обер-гофмейстер, обер-шенк и обер-церемоний-мейстер.

По третьему: гофмейстер, штальмейстер, егермейстер и оберфоршнейдер.

— Господи и все его ангелы! — мотал головой учитель.

— Четвертый класс был удивительным при дворце, им владели не придворные, а особо назначенные гражданские лица, а именно — обер-прокурор Синода и геральдмей-

стер... Уф, дайте запить красноречие! В общем, по пятому там только церемониймейстер, а потом уже камер-юнкеры и фрейлины, а поближе к концу и наш Саня Пушкин.

Никитин и сам с удовольствием выпил с лысым эрудитом. К чести международного, он не задавал никаких вопросов ни о предмете интереса, ни о пропавшем Колбасе. Его спросили — он ответил, не спросили — молчит.

— Геннадий, вы сказали вчера, что там еще какие-то чины есть.

— Да, гвардия, жандармы. И горняки. Самое интересное, что большевики уничтожили все чины и звания, кроме шахтерских, поэтому до сих пор под землей суетятся с петровских времен всякие там штрекмастера и маркшейдеры. Видимо, товарищу Сталину металл нужен был так же, как и Петру Первому. Не устали? Я ведь как политрук Красной армии, стоя могу час говорить, сидя — сколько угодно...

— Ну что вы!

Они проговорили до обеда, успев при этом поучаствовать в утихомирении Поноса, у которого начался приступ белой горячки. Его вязали приготовленной для таких случаев веревкой, облили водой, уложили в углу, лицом вниз. В общем, действовали профессионально, слаженно, с огоньком.

После обеда Лысый обещал продолжить лекцию, за что Хрущев его искренне поблагодарил.

12.

За обедом крючники разговорились, произносили тосты за Великую Октябрьскую социалистическую революцию и все крепко поддали. В том числе и наши герои. Но Лысый был способен продолжить лекцию, как когда-то подрабатывал по путевкам общества «Знание» во всех мыслимых и немыслимых организациях, трудовых и нетрудовых коллективах. В его зачете было даже платное выступление перед пациентами

туберкулезной больницы. Международный любил, чтобы его слушали внимательно, а там, как в собачьем питомнике, каждую секунду кто-то заходил в хриплом кашле. Воспоминание ниже среднего. Учитель же был человеком не только интеллигентным, но и очень деликатным — слушатель первого разряда.

— Когда-то, на заре табели, почетное дворянство те, у кого его не было, могли получить с девятого класса, с чина титулярного советника. Помните классику: «Он был титулярный советник, она — генеральская дочь...» Чиник маленький, штабс-капитанский. И вскоре дворян на Руси стало как нерезанных собак на нашей свалке. Планку тогда задрали до восьмого класса. Но и этих майоров стало не меньше, чем местного воронья. Потом стали дворянство присваивать очень индвидуально, а потомственное только с пятого, генеральского, чина.

— Это ведь связано с привилегиями?

— Несомненно. Я не буду углубляться, но и награждения орденами, и продвижение по службе были очень регламентированы. Ну хотя бы такой пример. Вам присваивается, скажем, восьмой класс — коллежского асессора. Но в послужном списке могли написать «со старшинством». То есть вы имели преимущество среди своего класса при получении следующего чина. А могли и не написать. Это как пять с плюсом. Вы ведь знаете такую форму поощрения.

— Но это в школе полуофициальная отметка.

— Но ведь есть?

— На любителя.

— А в табели совсем нет. Заметили, что в таблице во многих графах пропуск? Больше всех у морских. Ведь чтобы стать строевым офицером, надо было учиться. А в казаках — когда как. Из вашей любимой литературы: Григорий Мелехов хоть и командовал чуть ли не корпусом, но в гражданской жизни оставался все тем же «хлебопашцем

вольным». Казаков царский указ несколько дискриминировал, они даже личными дворянами могли заделаться только с седьмого классного чина, с погон войскового старшины.

Когда идут бои и выбивается младший офицерский состав, заработать золотые погоны можно и без науки, за голую храбрость. Но уже генеральские эполеты требовалось подкреплять хотя бы формальным образованием. Для казаков существовало специальное училище в Новочеркасске.

Согласитесь, на фронте все же лучше быть офицером, да и допнаек приятнее жрать, нежели легендарную суворовскую кашу. Золотопогонники по-другому шли в отпуск, награждались, лежали в других госпиталях и тэ дэ. А какая-нибудь штатская крыса в архиве, добившись титулишки титулярного советника, — бац! — дворянин, иди, заказывай фуражку с красным околышем.

— Крайне интересно! Почему я не стал историком?!

— Это никогда не поздно, мистер.

— Не-ет, поздно.

— Ну, станьте еще кем-нибудь, — как бы невзначай, как бы между прочим мягко пробросил Лысый. Никитин внутренне напрягся: инструкции Колбасы про «молчок» были весьма внушительны. Не проболтался ли? Но международник как ни в чем не бывало продолжал: — А хотите литературно-историческое эссе?

— Про табель?

— Про нее самую. Как?

— Конечно. Выпьем?

— С нашим законным удовольствием. Как говаривали в моем далеком и счастливом детстве, «бежала коза через мосточек, ухватила березовый листочек».

Хрюк-хрюк.

— Итак, чудеса мироздания. Табель о рангах, часть третья. Предположим, вы, Михаил Васильевич, служите в звании подполковника в его королевского величества короля датского Гатчинского полка имени принца Ольденбургского...

Что-нибудь в этом духе. Финансовые ваши дела в клоаке, содержат приличных лошадей, барышень и повара вы не в состоянии — весьма поиздержались. Товарищи офицеры по полку начинают на вас коситься. Вы скрепя сердце пишете рапорт о вашем желании перейти на службу в «серый» пехотный двенадцатый Загаженско-Бердичевский полк имени Выселок Засерских. По существующему положению такой добровольный переход свершался с повышением в звании. Вот вы на следующий день уже полковник, с соответствующими погонами и окладом содержания. Его, оклада, никогда не хватает, по себе знаю... Бывало, где-нибудь в Египте или на Кипре наскридуешь валюты, а приедешь на Родину... Эх... Так, вернемся к нашим полковникам. Ага, денег все равно не хватает. Что делать? Застрелиться? Зачем, когда есть волшебница, Табель о рангах!

— А что она по этому поводу говорит?

— А то, что человек, желающий перейти из строевой части в жандармерию, по-нашему в военную полицию, переводился-таки снова с повышением в звании. Дворяне служить жандармами не хотели, разночинцам всяким тонкое дело контрразведки не доверишь, потому царь и изобрел такие льготы. Наш пехотный полковник снова пишет рапорт и переводится в пятый пыточно-порочный эскадрон имени графа А. Х. Бенкендорфа. И вот уж вы, Михаил Васильевич, и генерал: красная подкладка шинели, папах, зарплата... Вся метаморфоза — за три дня. Как? Это я вам еще не рассказывал, что с титулами и чинами совершил Иосиф Виссарионыч!

— Великолепно! Вы писать не пробовали? — искренне и радостно спросил слушатель.

— Зачем? — сухо поинтересовался рассказчик, подводя черту под приятельской болтовней.

Как это часто бывает в берлоге, их диалог прервался дракой между



бабами-прихлебалками Тоськой и Мялкой. Они бились насмерть, обвинив друг друга в хищении так называемых гробовых денег. Разборки такого толка часто бывали у местных обитателей. После драки обе подружки затянули задушевую:

Это было весною, зеленеющим маем, когда тундра надела свой весенний наряд, мы бежали с тобою из таежного ада туда, где мчится скорый Воркута — Ленинград. Дождик капал на рыла и на дула наганов, нас ЧК окружила: «Руки в гору!» — кричат. Но ЧК прорчиталася, наша шобла прорвалася туда, где мчится скорый Воркута — Ленинград...

13.

Вечером, уже изрядно измученные бездельем в берлоге, алкоголем и прочими адреналиновыми выбросами, Лысый и Хрущев агонизировали на матрасе последнего. Они даже и пить больше не хотели.

— Ну что, любезнейший, не утомились? Закончить лекцию о табели в представлении И. В. Сталина?

— Было бы интересно, если...

— Нет, я ничего. Короче говоря, товарищ вождь решил взять на вооружение петровское производство в чины и классы. У дипломатов они так и по сей день называются. Полстраны он одел в форменные тужурки, нацепил на них какие-то каббалистические знаки. Смотрите, только в одной армии были на петлицах треугольники, кубики, шпалы, ромбы, звезды двух сортов. Плюс всякие нарукавные нашивки, эмблемы, кокарды... Но восточному человеку было этого мало, он решил еще глубже все законспирировать. Например, кроме воинских званий, ну там маршал или старшина — все равно, — вводятся специальные звания-должности, которые не соответствуют общевойсковому ранжиру. Ну, например, кто такой командарм второго ранга? Или старший майор госбезопасности, там же, в НКВД — комиссар госбезопасности третьего ранга. Опять же, в каком звании

ходит дивизионный комиссар? Так вот и Брежнева обидели, когда в 1943-м ввели общие погоны: одним давали генерал-майоров, а ему швырнули полковничьи наплечники.

Чекисты тоже заволновались при аттестации: с их специальными званиями была сплошная морока. Сержант ГБ становился лейтенантом, а маршальская должность генерального комиссара, по сути, спускалась на две ступени — до генерал-полковничьей. Обиды, доносы, самострелы...

А Сталин и тут не успокоился. Вы же знаете, что во многие международные договоры мы не вошли, а в которые все же вляпались, то СССР их просто не выполнял. Судите сами, по Гаагской конвенции о ведении военных действий на суше мы обязаны были призывать в армию интеллигентов на гражданскую именно службу. Всяких там врачей, юристов, журналистов, переводчиков, артистов... А у нас их всех ра-аз — и под погоны. Когда немцы ловили подобных англичан или французов, они их отпускали на все четыре стороны, если те, конечно, не были евреями... А наших...

— Потом все же разобрались. Не немцы, а наши.

— Да, дело устаканилось. Даже дошло до наших дней. Все стрелки ВОХРа, железнодорожники и всякие там лесничие так и замерзли с тридцать седьмого года во всех этих шпалах и ромбах на петлицах. Между прочим, хотите повеселиться?.. Вы смотрите на таблицу петровской табели, а я вам продиктую те же самые четырнадцать классов чинов по иерархии КПСС. Только не снизу вверх, а наоборот... У нас же все наоборот. Хотите?

— Хочу, — признался Никитин.

— Ну, генсек — вне таблиц, это наш царь. А дальше...

Первый класс — член Политбюро ЦК, секретарь ЦК, под которым республика или важное министерство.

Второй — член Политбюро, секре-

тарь ЦК, под которым важный отдел.

Третий — кандидат в Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК.

Четвертый — секретарь ЦК, зав. важным отделом ЦК.

Пятый — Первый секретарь ЦК Компартии республики; Предсовмина республик; Председатель Верховного Совета республик.

Шестой — первый секретарь крайкома, обкома автономных республик и областей; завотделами ЦК КПСС; секретари ЦК союзных республик; первые лица Москвы и Ленинграда, номенклатура Политбюро, то есть всякие там академики, маршалы, министры...

Седьмой — члены бюро ЦК союзных республик, номенклатура ЦК КПСС на местах.

Восьмой — первые секретари горкомов крупных городов, промышленных, сельскохозяйственных, приграничных районов; парторги ЦК на крупнейших предприятиях и стройках.

Девятый — члены бюро горкомов, райкомов КПСС; штатные работники крайкомов и обкомов; местная администрация.

Десятый — первые лица городского и районного звена.

Одиннадцатый — члены райкомов, освобожденные секретари парткомов предприятий областного значения, краевого подчинения.

Двенадцатый — номенклатура горкомов и городских районов КПСС и администрации.

Тринадцатый — освобожденные секретари парткомов на предприятиях, все остальные штатные сотрудники райкомов и горкомов партии.

Четырнадцатый — члены парткомов на предприятиях, внештатные активисты и ветераны партии.

Finita!

— Весело получилось. А дипломаты?

— Хм, тут и сложно и просто. Или наоборот. Да, чины и классовые звания у них имеются, но самое главное не это. Страна или страны, где ты сидишь. Ну что

нам Габон или Суринам? Климат ужасный, из развлечений одна водка, скучища-а... А другое дело быть пусть маленьким дипломатом, но в Париже или Нью-Йорке. Исходя из формальной логики, быть посланником второго ранга в Бирме почетно, но третьим секретарем второго класса в Лондоне престижней и доходней. Или посол СССР в нищей Северной Корее по положению был членом ЦК КПСС, а его коллега в жирнейших Нидерландах — нет. Когда в наше диппредставительство на Ямайке в те времена приезжала одна высокая делегация в два года — это одно дело. Теперь же представьте себе ежедневную головную боль посла в Пекине! Ет цетера...

— А консулы?

— Четвертый раз вы мне задаете вопрос об этой категории дипломатических работников, Михаил Васильевич. Тут и безумец бы догадался. Надеюсь, предложите когда-нибудь подхалтурить?

— Не сомневайтесь, Геннадий.

— Мерси... Так, консулы вас

интересуют? Что же. Наша страна богата и этими дьяволами. Обычно это шпионы, Михаил Васильевич. Удобно, встречаться можно по формальным вопросам с агентурой, спокойно передвигаться по стране пребывания, посещать госучреждения и своих коллег-дипломатов. Короче, самое то. Самое лучшее прикрытие для лицарей плаща и ножика.

В начале нашего века в одной только Германии, во всех ее княжествах, графствах и курфюршествах у России было столько консульств, вы только подсчитайте:

- в Берлине посольство при Германской империи;
- в Бадене — миссия в Карлсруэ;
- в Баварии — миссия в Мюнхене...
Здесь тринадцать лет служил наш поэт Федор Иванович Тютчев вторым секретарем, первым и, наконец, советником-посланником; кстати, миссия действует и сегодня;
- в Брауншвейге — миссия в Брауншвейге;
- в Вюртенберге — Штутгарт;

- в Гамбурге-Любеке-Бремене — миссия в Гамбурге, и у СССР была, и по сей день имеется;
- в Гессене — Дормшадт;
- в Макленбурге-Шверине и Макленбурге-Штрелице — миссия в Шверине;
- в Ольденбурге — Ольденбург;
- в Саксонии — Дрезден; тоже при советских оставалась;
- в Саксен-Веймаре и Саксен-Альтенбурге — миссия в Веймаре;
- в Саксен-Кобург-Готске — миссия в Готе...

Отсюда родом расстрелянная последняя наша императрица Александра Федоровна. Представляете, Эм Вэ, каким надутым был тут российский консул. Разумеется, до 1914 года! И это-то Россия не готовилась к войне? С таким количеством профессиональных разведчиков в самых важных точках Германской империи?! Не смешите меня, Михаил Васильевич! Впрочем, позвольте откланяться — слипаются глазоньки...

Продолжение следует.

Ирина ИЛЬИНА



Пишу с детских лет. В годы учебы в Ростовском медицинском институте печаталась в студенческой многотиражке, газете «Таганрогская правда», в журнале «Студенческий меридиан» в 1987 году вышли рассказ «Посещение» и миниатюра «Индивидуальность».

После окончания института несколько лет писала стихи, которые не показывала никому, на прозу не хватало времени в связи с работой. С 2004 года стала писать и публиковаться в Интернете на сайте «Самиздат».

Последние публикации — в «Литературной газете» (2010 г., абсурдный рассказ «Выволочка»), в журнале «Мир фантастики» (2010 г., рассказ «Пробей стену» на диске-приложении) и журнале «Стетоскоп» (2010 г., миниатюра «Крокодиловы слезы»).

Пишу, потому что иначе не могу. Пишу, потому что люблю жизнь и людей.

СТРАННОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

Кириллов Андрей Викторович, человек уже не молодой, но и совсем не пожилой, даже еще не пенсионер, решил заняться написанием завещания. Эта мысль появилась у него не на пустом месте. Андрей Викторович с ужасом вспоминал, сколько проблем возникло после скорострительной смерти его жены. Тогда степными стервятниками накинута на несчастную недостроенную дачу братья и сестры незабвенной супруги. Умом Андрей Викторович понимал, что дочь у него одна и вряд ли у нее возникнут сложности, но тогда он поклялся над гробом усопшей, что обязательно составит это завещание.

Однажды теплым июньским вечером, взяв в руки чистый лист бумаги и подложив под него линованный трафарет, поменяв стержень в авторучке, Андрей Викторович неопытной рукой аккуратно вывел: «Я, Кириллов Андрей Викторович, находясь в здравом уме и твердой памяти, сегодня (он оставил место для даты) составляю это завещание. Все свое движимое и недвижимое имущество, а именно: двухкомнатную малогабаритную хрущевку двадцати девяти квадратных метров жилой площади, дачный участок в шесть соток с сараем два на четыре без фундамента, но с одним окном, расположенный на сороковом километре, малолитражный автомобиль «Ока», а также счет на сберегательной книжке Сбербанка России я завещаю своей единственной дочери Кирилловой Екатерине

Андреевне».

После этого Андрей Викторович созвонился с ближайшей нотариальной конторой, записался на прием, сообщив, что завещание уже написано и осталось его только заверить. После проделанной тяжелой работы Андрей Викторович выпил рюмку армянского коньячку, включил новостной канал и уставился в телевизор.

Он узнал, что погодным аномалиям конца не видно, что в родном театре готовится очередная премьера, что кризис давно позади, и если этого кто-то не замечает, то виноват он сам. Между прочим было сообщено, что греческий миллионер Кириллиди собирается на своей яхте отправиться в круиз с молодой женой. Был показан сюжет, в котором «бандит» Кириллиди, возраста Андрея Викторовича (а Андрей Викторович всех миллионеров считал бандитами), с молодой женой, девчушкой лет семнадцати-восемнадцати, всходит по шатким сходням на белоснежную красавицу яхту.

«Тьфу ты, стыд-то какой, — возмутился Андрей Викторович, — да она во внучки ему годится!» Андрей Викторович сплонул от злости, выпил еще коньячку и пошел спать.

В назначенное время чисто выбритый, в новом костюме (надевал за десять лет всего трижды — на двадцатилетие собственной свадьбы, на свадьбу дочери и на похороны супруги) Андрей Викторович

вошел в нотариальную контору. Секретарь встретила его с приятной улыбкой, без проволочек отвела в кабинет к боссу. Боссом оказалась миловидная женщина, ухоженная, очень модно одетая, средних лет.

— Присаживайтесь, пожалуйста, — пригласила она посетителя.

Андрей Викторович сел, достал сложенный вчетверо лист бумаги.

— Вы обязательно хотите, чтобы завещание было написано от руки? — спросила нотариус.

— Мне все равно, — удивился Андрей Викторович, — я не думал об этом.

— Тогда давайте секретарь наберет и подпишем завтра?

Но Андрей Викторович отказался от этой услуги: ему не хотелось возвращаться еще и завтра, костюм надевать — он надеялся, что его в нем и похоронят, все дочери меньше тратиться придется.

— Что ж, — не удивилась нотариус, — давайте ваше завещание, если написано правильно, заверим.

Андрей Викторович отдал листик, и нотариус стала читать вслух:

— Я, Кириллов Андрей Викторович, находясь в здравом уме и твердой памяти, сегодня (она вписала дату) составляю это завещание. Все свое движимое и недвижимое имущество, а именно, — вдруг она поперхнулась, — виллу на Крите «Афродита», внедорожник «Ниссан», яхту «Саламандра», четырехместный самолет «Коршун», трехэтажный дом в Афинах с пятью спальнями, теннисным кортом и бассейном, счет на пять миллионов долларов в швейцарском банке... Что это? У вас все это есть? У вас есть документы, подтверждающие права собственности на все это имущество?

— Это не мое, — залепетал вдруг посеревший посетитель.

— Может, вы придете завтра? В это же время? Успокойтесь, хорошо подумаете над своим завещанием?

Дома Андрей Викторович принял холодный душ, плотно поел, не ощущая вкуса съедаемых блюд, сел к телевизору. Среди прочих новостей он узнал, что яхта греческого миллионера Кириллиди потерпела крушение в Средиземном море, и только благодаря умелым и слаженным действиям капитана и команды на судне никто не пострадал. Андрей Викторович взглянув на фото испуганной молодой жены миллионера и его самого, уверенного в себе, уважаемого, несмотря на грязный и мокрый костюм, озлобленно сплюнул и налил коньячок.

На следующий день Андрей Викторович достал сложенный вчетверо лист бумаги, прочел свое завещание. Никаких яхт и вилл там не было, но он добросовестно все переписал. Посмотрел новости,

узнал, что неугомонный греческий миллионер Кириллиди с молодой женой отправился на одном из собственных самолетов в Африку на сафари. Выпив по этому поводу коньячку, Андрей Викторович пошел спать.

В назначенное время Андрей Викторович появился в нотариальной конторе. Так же отказался от услуг секретаря, прошел в кабинет нотариуса, протянул листок. Нотариус начала читать:

— Я, Кириллов Андрей Викторович, находясь в здравом уме и твердой памяти, сегодня (она вписала дату) составляю это завещание. Все свое движимое и недвижимое имущество, а именно виллу на Крите «Афродита», внедорожник «Ниссан», яхту «Саламандра», четырехместный самолет «Коршун», трехэтажный дом в Афинах с пятью спальнями, теннисным кортом и бассейном, счет на пять миллионов долларов в швейцарском банке... Что это вы опять? — удивилась нотариус.

Андрей Викторович, тяжело ступая на ватных ногах, поднялся на свой этаж. Сразу выпил коньячку, потом принял душ и плотно пообедал вчерашним борщом и голубцами. Диктор новостей сообщил всем желающим знать, что на охотничий лагерь греческого миллионера Кириллиди напал огромный лев-людоед и только благодаря умелым и профессиональным действиям отважных егерей в лагере никто не пострадал. «Вот же ты, сволочь, какой, — возмутился Андрей Викторович, — в воде не тонет, лев его не ест!» Он зло сплюнул, выпил еще рюмашечку. Очередной раз переписал завещание. Из вечерних новостей узнал, что отчаянный греческий миллионер Кириллиди отправляется с молодой женой на Памир. Все желающие и не желающие видеть увидели, как он крутил штурвал своего самолета, выводя его на взлетную полосу. Андрей Викторович удивленно пожал плечами: «Дался им этот Кириллиди! Каждый день показывают». Он выпил последнюю на сегодня рюмашечку и сладко заснул.

Утром Андрей Викторович брезгливо отбросил свой костюм, достал джинсы, пуловер и кроссовки, подаренные дочерью, оделся, зашел в цветочный ларек, купил желтую розу и отправился в нотариальную контору. Там он передал секретарю свое завещание, коротко бросив:

— Оформите, пожалуйста.

Зашел к нотариусу:

— А не сходить ли нам, уважаемая Елизавета Валерьевна, кофе попить? — неожиданно предложил он.

— А почему бы и нет? — неожиданно согласилась она.

После часового перерыва на кофе-тайм, договорившись о встрече вечером и оживленно беседуя, они вернулись в контору. Там уже ждало отпечатанное по форме завещание. Взглянув по диагонали на такой знакомый текст, нотариус Елизавета Валерьевна быстро его заверила. Время до вечера тянулось медленно. Вечер же пролетел быстро. Андрей Викторович изрядно выпил, потанцевал с приятной дамой, и к ночи они уже были не просто знакомыми, не клиентом и нотариусом, а по меньшей мере близкими друзьями, если не больше. Андрей Викторович новости не смотрел, он вообще перестал смотреть новости. Роман с нотариусом протекал бурно. Заявление в ЗАГС подано, платье куплено. Дата свадьбы назначена.

Когда гости рассаживались в ресторане, в зал вошли двое незнакомцев. Они уверенной походкой подошли к молодоженам:

— Кириллов Андрей Викторович? — строго спросил один.

— Да, — удивился новобрачный.

— Мы вынуждены вас задержать по подозрению в организации заказного убийства греческого миллионера Кириллиди.

— Что? Как? Кириллиди все-таки умер? — удивился Андрей Викторович.

— Не надо делать удивленное лицо, — ответил второй.

— Да зачем мне это? — спросил Андрей Викторович.

— Вы узнали о завещании Кириллиди, он вам как дальнему родственнику завещал виллу на Крите «Афродита», внедорожник «Ниссан», яхту «Саламандра», четырехместный самолет «Коршун», трехэтажный дом в Афинах с пятью спальнями, теннисным кортом и бассейном, счет на пять миллионов долларов в швейцарском банке.

— Что? Какой родственник? — Андрей Викторович посерел и стал оседать на пол.

Но двое непрошенных гостей подхватили его

и вынесли из зала. Следом бежала новобрачная с криком:

— Дорогой, можно я куплю себе шубку, помнишь, я мерила, голубая норка?

Андрей Викторович висел на плечах сотрудников внутренних дел, его голова мерно покачивалась в такт движению, он странно подволакивал правую ногу. Один из них сказал:

— Вот уж действительно, чего хочет женщина, того хочет бог, значит, бог хочет новую шубку и замуж!

— Точно, — согласился второй.

Допросить Андрея Викторовича так и не удалось: он до сих пор лежит в кровати на спине, смотрит в потолок и не двигает даже глазами яблоками. Доказать связь между смертью греческого миллионера Кириллиди и завещанием Андрея Викторовича тоже не удалось, смогли только проследить странное совпадение между явками Андрея Викторовича в нотариальную контору и несчастными случаями, происходившими в это время с миллионером Кириллиди. Но они заканчивались благополучно. И что и как сделал Андрей Викторович с греческим миллионером в полете на Памир, так и осталось неизвестным.

Нотариус Елизавета Валерьевна живет обычно в афинском доме, периодически появляясь на Крите, летая на Памир, совершая круизы на яхте «Саламандра». Она регулярно оплачивает счета из дома призерия, где проживает теперь Андрей Викторович. По доброте душевной законная супруга Андрея Викторовича подарила его дочери двухкомнатную малогабаритную хрущевку двадцати девяти квадратных метров жилой площади, дачный участок в шесть соток с сараем два на четыре без фундамента, но с одним окном, расположенный на сороковом километре, малолитражный автомобиль «Ока», а также счет на сберегательной книжке Сбербанка России. Неизвестно только, хочет ли она снова замуж и не требуется ли ей еще одна новая шубка.

г. Ростов-на-Дону

Галка ГАЛКИНА



Драгоценный читатель! Ты можешь подумать, что я к тебе подлизываюсь. Ну что же, думай. Вот теперь ты уже ошибаешься, потому что на самом деле я нисколько не лицемерю, потому что ты — мой лучший собеседник. В общем, единственный. И я не хочу тебя терять...

Поэтому я буду говорить правду... Мы просто станем друзьями, и все тут. Абсолютно добровольно...

В этом месте следует узнать твое мнение. Не могу судить, насколько убедительны оказались эти мои строки. И не буду судить, поскольку мне абсолютно все равно, убедительны они или нет...

Владимир Волга

Галка ГАЛКИНА:

Вот так всегда. Поматросили и — бросили. Нельзя так, Владимир, не по-джентльменски. Читателя надо любить до конца. Практически до гробовой доски, как женщину. А уж ежели решили изменить, то зачем же ввали вначале, что, мол, единственный, драгоценный?

А мы-то уже и поверили, уши развесили. Думали, ну вот, наконец, явился писатель, который нас, читателей, будет любить. Бескорыстно и платонически. А то ведь что получается. Современный, с позволения сказать, писатель не мучается даже во-

просом: любит — не любит. Он нас откровенно презирает. Можно даже сказать: ненавидит. И пишет плохо и скучно. И вот заблестали вдалеке искорки надежды и... потухли.

И Вы туда же. Все писатели одинаковы. Им только свое получить. В данном случае внимание, а потом трава не расти.

Нехорошо, Владимир. И хотя читатель — не кисейная барышня, но все же — существо порядочное. И не позволит с собой так обращаться.

Развод и девичья фамилия!



О нуждах и надобностях

- *Должностишку б заметь, а может даже и пост!*
- *Где оклад, там и компромат!*
- *Что починишь, то и отринешь!*
- *Что выпросишь, то и выбросишь!*
- *Идя по нужде, не окажись в узде!*
- *При советах нуждался!*
- *При демократах дождался!*
- *А теперь продался!*
- *Зима на носу, готовь колбасу!*
- *Хочется удачи, а лежу и плачу!*



Размышления о единении

- *Что лучше — объединение или объединение?*
- *Помутнение ума происходит задарма!*
- *Я служил бы в РККА, да слаба моя рука!*
- *Я служил бы и на флоте, но вчера увяз в болоте!*
- *Я служил бы в химзащите, в том подвоха не ищите!*
- *Я служил бы полицаем, одинок и порицаем!*
- *Я служил бы там и тут, только, чую, заметут!*
- *Я служил бы ямщиком, только есть ли там профком?*
- *Я служил бы диссидентом, там большие дивиденды.*
- *Я служил бы водолазом, был трехруким и трехглазым!*



© фото Ярослава ЛИТВИНЕНКО

**SMS'ка, посланная Юрию:
Хальт цурюк!**